18+

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 0131-6044

9 770131 604002

РОМАН-ГАЗЕТА

2024 №10

Виктор Слипенчук / Зинзивер

«Вместе на кресте»

Сергей Михайлович Харламов (27.01.1942–02.04.2023) — выдающийся русский художник, работавший в станковой и книжной графике в техниках ксилографии, линогравюры. Он автор серий гравюр: «Русские писатели XVIII–XIX века» (1974–1976), «На поле Куликовом» (1976–1979), «Отечественная война 1812 года» и других, иллюстратор произведений Джонатана Свифта, Н. В. Гоголя, стихотворений Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. К. Толстого. В 1990-е годы Сергей Харламов создал цикл гравюр «В земле Российской просиявшие». Произведения художника представлены в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Киевского государственного художественного музея, Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника, музеях и частных коллекциях России, Сербии, Италии, Великобритании, США и других стран. Друг С. М. Харламова, знаменитый скульптор Вячеслав Клыков сказал о нем: «Смотришь на гравюру Сергея Харламова и оказываешься в настолько родном, знакомом тебе мире... Все это Россия. Художник поразительно точно передает ее образ, кажется, ты переживаешь с той же, что и автор, волнующей силой. Вечностью, мощью веет от этих гравюр, и на душе становится как-то ясно, просто, спокойно».

В сентябре 1994 годы Сергей Харламов вместе с группой русских художников побывал в Сербии. Публикуем фрагменты из его воспоминаний «Вместе на кресте». Они и сегодня, спустя 30 лет, не потеряли своей актуальности.

Троица. Сергей Радонежский и Андрей Рублёв (1994)

«Россия, как православная держава, всегда поддерживала Сербию и давала ей возможность выжить в исключительно сложных условиях. Страна почти со всех сторон зажата либо католиками, либо мусульманами. С православной Болгарией и них взаимная нелюбовь, с особой силой проявившаяся во время Первой и Второй мировых войн. И если мощь нашей державы ослабевала, как в политическом, так и в экономическом плане, то мгновенно усиливалось давление на православие во всем мире и на Сербию особенно. По внутреннему устройству души они наши, восточные, православные, по внешнему виду — западники, так как находятся в центре Европы».

«У нас с Сербией один путь. Наши общие страдания только свидетель-

Князь Михаил Черниговский в Орде (1983)

Окончание см. на 3 стр. обложки.

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

2024 №10 /1951/ Основана в 1927 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный редактор
Елена Русакова

Права на использование товарного знака «Роман-газета» принадлежат ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2024
Все права защищены

Журнал зарегистрирован в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-68350 от 30.12.2016 г.

Подписаться на журнал «Роман-газета» можно в отделениях связи и через Интернет: roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные индексы издания:
в объединенном каталоге ***«Пресса России»*** ***38915*** *на полугодие;*
в электронном каталоге ***«Почта России»*** ***П1526*** *на полугодие*

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

Виктор Слипенчук

Зинзивер

Роман

Глава 29

Итак, десятого апреля я надеялся снять с себя ограничения по голоданию. Однако снял гораздо раньше. И это не было первоапрельской шуткой. То есть первого апреля утром кто-то под дверь в комнату подбросил письмо. Я подумал: какая-нибудь шутка, розыгрыш. Каково же было мое удивление, когда я узнал Розочкин почерк.

Я тихо лёг на кровать и долго-долго лежал с конвертом на груди. Всякие энергичные мысли, точно ретивые лошадки, проносились в моей голове. Наша короткая жизнь с Розочкой предстала передо мной воистину как на ладони.

Не представляю, сколько я пролежал, застигнутый сладостными воспоминаниями, но, когда очнулся, подбежал к столу за ножницами и чуть не зарыдал в избытке чувств. Меня трясло, я не мог справиться с пустячным делом — надрезать конверт.

Что, что она пишет?! Может, сообщает, что выехала ко мне и её надо встретить? А может, она уже приехала, а письмо запоздало? Конечно, запоздало! Ныне ничто не работает, а если работает, то настолько отвратительно, что лучше бы не работало, не давало провокационных надежд.

Я с горечью положил конверт и ножницы на подушку. Я почувствовал такой ненасытный голод, какого ещё не случалось испытывать даже во время голодания. Выражение «сосёт под ложечкой» — детский лепет, жалкая пародия на чувство, которое овладело мной. Кстати, ненасытный голод — основной признак или симптом, что впадаю в истерику. Единственное спасение в этом случае — еда. И непременно грубый продукт, то есть твёрдая пища.

Я жадно оглядел комнату: рабочий стол, который часто заменял мне верстак, спинки кровати, другие предметы и вещи. Я искал какой-нибудь металлический шарик с одной-единственной целью (да-да!) — проглотить его. О Господи, любой из них, даже какой-нибудь завалящий ржавый, был для меня в тот момент пределом вожделений. Я совсем позабыл (итог внезапного перевозбуждения), что в картонных коробках под кроватью у меня полным-полно продуктов, а на подоконнике, в целлофановом пакете, две булки самого настоящего свежего хлеба. Но, как говорится, ситуацию разрешил сам Бог — я увидел пакет. Нет-нет, я не вспомнил о хле-

Окончание. Начало см. в № 9 за 2024 год.

бе! Совершенно машинально положил руку на пакет и чуть не подпрыгнул от радости — хлеб!

Нет нужды рассказывать, с каким аппетитом я ел его. Нет — уминал, потому что я не резал его ножом, а рвал руками, как рвал бы его любой изголодавшийся. (В своём нервном потрясении я был именно таким изголодавшимся, хотя и не был им.)

Итак, за десять дней до срока, предусмотренного по схеме, я уже стал употреблять твердую пищу, причём в неограниченных количествах. Впрочем, надо признать, что, только умяв одну и приступив к уминанию другой ржаной булки, я вдруг почувствовал, что как бы проглотил свинцовый бильярдный шар. Словом, руки мои перестали трястись, а душевно я до того успокоился, что опять тихо лёг с конвертом на груди.

На этот раз не было никаких воспоминаний и никаких мыслей, даже случайных, лежал в какой-то первозданной пустоте. Один раз только отчётливо подумалось: чего лежишь, вскрой наконец конверт! И я — вскрыл.

Роза писала на жёлтом от времени листе, на уголке которого был нарисован выцветший Дед Мороз и надпись — С Новым, 1970 годом! Где она его взяла? Ведь она родилась в 1972-м?! Мысли мои понеслись вскачь — пятого июня ей исполнится двадцать. Мы мечтали отметить круглую дату какими-нибудь дикарями в Крыму. Боже мой, где это все?!

«Дорогой Митя!..»

(В глазах у меня помутнело — до-ро-гой! Я дорогой для неё!.. Невидяще посмотрел в окно: «Розочка, где ты? Как живёшь, мой цветочек?!» Снова поднёс к глазам ветхий лист.)

«Дорогой Митя! Меня восстановили в медучилище, но без стипендии. Я подрабатывала на «скорой помощи». А вчера стали говорить, что я взяла коробку ампул морфия и продала криминальным наркоманам. Мне уже делали привод в милицию и угрожали отчислить. За что? Я не брала! Говорят, что и тебя, как моего бывшего мужа, будут вылавливать. Но это они берут на понтá: ты же не венерический. Я не дала твоего адреса, и ты, Митя, не открывайся. По возможности вышли мне денег, сколько сможешь, — до востребования. Знаю, тебе интересно, как моя цель. Не беспокойся, цель моя горит, как звезда в небе, а внизу грязь сплошная. Но один Владыка уже пообещал наставить меня на путь истинный. Как увидит меня, так сразу — свят-свят-свят!.. Лицо холеное, прозрачное — сю-сю-сю! Но ты, Митя, хотя и неряха хороший, а чище их всех. Стихи в Москве продают с рук на руки, а договариваются по телефону. Если у тебя сейчас нет денег, прошу, сходи попродавай свои «нетленки». Кроме как на тебя, Митя, мне не на кого надеяться. Ну, иди сюда, Митенька, я тебя поцелую. Встретимся — как договорились, а пока не засвечивайся, деньги присылай до востребования на Розу Федоровну Слёзкину. У меня два паспорта. Сейчас я живу под твоей фамилией. Присылай — твоя Розочка».

Письмо взволновало. Я несколько раз перечитал его и пришёл к выводу, что положение у Розочки совершенно ужасное, она гибнет. А она — не кто-нибудь, она — Роза Фёдоровна Слёзкина! Я даже закричал на себя от негодования:

— Ты ещё здесь?! Срочно — деньги!

И желательно в СКВ, добавил я мысленно потому, что с этой секунды уже контролировал свои действия.

Я быстро оделся и накинул крылатку. Несмотря на желание немедленно бежать продавать свои «нетленки», я почти до обеда «просидел» в ней за столом — подготавливался...

Во-первых, все эти дни, что выходил из голодания, я писал. А стало быть, совсем новые стихи не были отпечатаны. Во-вторых, после «Свинячьей лужи» и очередных запоздалых рефлексий, связанных с выпивкой, я совершенно безрассудно настроился, что никогда больше не буду продавать свои произведения. А потому не произвел даже поверхностной их инвентаризации. Словом, продавать стихи и при этом не оставлять себе второго экземпляра, то есть продавать вместе с ними навечно и своё авторство, — этого бы Розочка не одобрила. И правильно, потому что всякий, пытающийся стать писателем, не может не мечтать об издании собрания своих сочинений. И это естественно, как естественно, что каждый солдат мечтает стать генералом. Борис Леонидович Пастернак, попросту говоря, надул нас, когда сказал: «Не надо заводить архива / Над рукописями трястись». Недавно я полистал четвертый том его собрания сочинений — кирпич, более девятисот страниц, в который, между прочим, включены первые, понимаете, первые литературные опыты Бориса Леонидовича. Думаю, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы с уверенностью утверждать: сам Борис Леонидович завёл свой архив где-то двадцати лет от роду и всю жизнь содержал его в полнейшем порядке. По себе знаю, любят поэты блеснуть остроумием, козырнуть новым словцом, строкой, четверостишием. Тянет их промчаться по небосводу этаким пылающим метеором, чтобы непременно всех и сразу ослепить своим сиянием. Так и здесь... Но будет об этом!

Вместо какой-то там минуты я просидел дома почти до обеда. Я вынужденно занимался тем, что впоследствии составило начало моего архива. Тем не менее за каких-то полдня я проявил чудеса работоспособности. Единственное, что смущало, — не было нового стихотворения, посвящённого Розочке. (В своё время я отпечатал его в одном экземпляре — дарственные стихи должны быть единичны.) И вот...

Неужто именно его приобрёл начальник милиции?! Как бы там ни было, а со стихотворения Розочке начал я свой архив. Виделось в этом что-то символическое. Наверное, поэтому, хотя я и показывал чудеса работоспособности, мне то и дело вспоминался часто повторяющийся сон из того незабываемого, но практически забытого мною дня.

* * *

Летний бар «Свинячья лужа», длинный стол, густо уставленный полупустыми бутылками и банками из-под пива, сквозь дым и пар как бы плавающие лица побратимов и гул пьяного разговора, в котором все говорят и никто никого не слушает.

— Митя, продай свой байковый балдахон за тридцать унций золота! Это — девять тысяч зелёных! — горячо говорит волосатый Реня и ещё выше поднимает меня. Я сижу на его руке, поджав ноги, их не видно из-под крылатки. «Зачем ему мой балдахон?» — терзаюсь я.

Реня несёт меня вокруг стола, как знамя, а точнее, как поднос с яствами. И действительно, я уже сижу в открытой серебряной посудине, обсыпанный какой-то сахарной пудрой. Побратимы, перемигиваясь, привстают, желая лично удостовериться, что из обещанных яств — это именно я. При этом у каждого из них ножи и вилки, точа которые друг о дружку, они выказывают свое нетерпение ко мне, как бы к лангету.

Если я сброшу крылатку, а продав, придётся сбросить, мысленно констатирую я (меня охватывает ужас), побратимы съедят любого, кто окажется на столе, как говорится, и косточек не оставят. Так вот для чего Рене мой байковый балдахон?! — прозреваю я, и отчаяние придает мне силы.

— Во-первых, это не балдахон и тем более не балдахин, это, это крылатка — крылатка всадника, скачущего впереди!

Реня достаёт из-под чёрного блестящего плаща (он теперь в плаще и цилиндре джентльмена) портмоне, туго набитое долларами. Портмоне из крокодиловой кожи, оно до того распухло от СКВ, что не закрывается, и Реня вынужден держать его перед моими глазами кармашками наружу. Я вскрикиваю:

— Манчестер Сити!

Вскрикиваю оттого, что внезапно узнал и англичанина, и его портмоне. Я даже заметил, когда он по-джентльменски широко откинул плащ, розовый платочек в кармашке его смокинга.

Понимая, что разоблачён, что ничего уже не исправишь, Реня со всей силы так треснул подносом о стол, что все яства (в том числе и я в серебряной посудине) покатились в разные стороны, разбивая на своём пути всякие бутылки, банки и склянки. Да-да, последнее, что я слышал, — звон стекла. И последнее, что видел, — занесённые надо мною ножи и вилки (сейчас они вонзятся в мою плоть — я с криком просыпался).

Теперь, когда пришло письмо от Розочки, часто повторяющийся сон обрадовал — среди рукописей, принесённых из редакции, попался «Сонник» Нины Григорьевны Гришиной, из которого я узнал, что удары получать от живых — это семейное счастье, всё хорошо.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 30

Моё появление в «Свинячьей луже» никого не удивило, оказывается, меня ждали. Не конкретно, но, как говорится, со дня на день. Транспарант с моим стихотворением был заменён (теперь на небесно-голубом ситце сияли всего два слова: «ПИВНОЙ БАР»). Двуносый сказал мне, точно какому-нибудь фининспектору, что обслуживание населения — серьезный вопрос, а поэтому надо стремиться к простым, но неоскорбительным формам.

— Человека надо уважать! Человек — вещь священная (Homo res sacra).

То, что Двуносый стал использовать крылатые слова, да ещё на латыни, меня нисколько не удивило. Обыкновенные изыски, наподобие — поэт от Фаберже!.. А вот подчеркивание, что обслуживание — вопрос серьезный, что во всём надо стремиться к простым, но неоскорбительным формам, как-то сразу озадачило: почувствовал, что это не его слова, то есть слова, может быть, и его, а самая мысль кого-то, имеющего власть над ним. Тут, наверное, мой прежний опыт работы в газете сказался, когда после очередного или внеочередного Пленума ЦК КПСС я замечал в какой-нибудь самой непритязательной статейке отблеск великих решений... Сейчас это трудно представить, но в те времена талантливость автора определялась не прямой компиляцией решений партии, нет-нет, она определялась умением так тонко подбирать и располагать факты, чтобы они сами, подобно лакмусовой бумажке, проявляли высочайшую необходимость принятых решений. В каждой газете были компиляторы настолько высокой пробы, что их признавали «золотыми перьями» и даже в некотором смысле инакомыслящими (диссидентами не называли, это слово пугало тогда даже самих «инакомыслящих»). Не считая Васи Кружкина, я двоих таковых знавал в нашем отделе комсомольской жизни. Почему Двуносый напомнил одного из них, бог весть! Я его напрямую спросил: видел ли он начальника железнодорожной милиции? Не тот

ли приказал ему снять транспарант с моим стихотворением, и вообще, не он ли наставлял Двуносого стремиться к простым, но неоскорбительным формам?

— Он, Митя, он! — воскликнул Двуносый и, опасливо озираясь, пригласил меня в свой так называемый кабинет для конфиденциального разговора (в центральном киоске у него была тесная выгородка из ящиков, заполненных стеклотарой). — Вот здесь, Митя, вот здесь! Прямо на кресле, на котором ты сидишь!..

Я сидел на каком-то амбарном приспособлении с разъезжающимися металлическими ножками, которые сами по себе постоянно спружинивали, отчего было чувство, что я всё время куда-то еду, не то на верблюде, не то на пауке. Я даже тряхнул головой, чтобы освободиться от внезапного наваждения.

А между тем Двуносый горделиво продолжал, что позавчера его самолично посетил Лимоныч (так он называл начальника железнодорожной милиции и при этом всегда уважительно добавлял: глаз — алмаз и Голова — с большой буквы). Посетил для того, чтобы иметь с ним неофициальную беседу. (И смех и грех — два дипломата, встретившиеся в чулане.)

Впрочем, подобострастное отношение к Лимонычу вскоре разъяснилось. Оказывается, большое счастье улыбнулось Двуносому, что нашлись-таки умные люди, надоумили его выйти на начальника железнодорожной милиции. Потому что, если бы не Лимоныч — Двуносый резко ударил по ящику — звякнула стеклотара, — сгорели бы киосочки, и следов бы не нашли, а так благодаря ему, Лимонычу, и киоски живы, и сам Феофилактович не только жив и здоров, а получил разрешение четвёртый киоск поставить.

Двуносый стал увлечённо рассказывать, что прежде всего заасфальтирует пивной дворик, на углах разместит киоски, а между ними натянет тент от дождя. Ограждение тоже продумал — сейчас армия торгует всем чем ни попадя. Он уже знает, где, у кого и за сколько ящиков взять маскировочную сетку, — лучшего дизайна для летнего пивного бара и придумать невозможно.

— Лоскутики шевелятся на ветерке, танцуют легкие тени, словно листочки сада, а побратимы уже сидят. Сидят за отдельными столиками, как говорится, за кружкой пива и о жизни толкуют, и всё умно́ и уютно — кайф!

Двуносый от удовольствия даже глаза зажмурил, но я вернул его к Лимонычу:

— А что, начальник железнодорожной милиции и горисполком, пивными точками распоряжается?

— Эх, Митя, Митя, какой горисполком? Ничего нету, а что есть, ненавидят таких, как я! Говорят: спекулянты вы, жульё, мы охранять ваше добро не будем, ведь вас хотят ограбить такие же жулики, как вы, потому что все вы — проходимцы, криминальные элементы, одно слово — «новые русские».

Двуносый, досадуя, махнул рукой, сел на такое же членистоногое приспособление. Мягко заколебался перед моими глазами, словно и он поехал на каком-то двугорбом пауке.

— Никогда я не был «новым русским», я был и остаюсь просто русским, который выдвинулся исключительно благодаря своим способностям. Другое дело я — человек новых взглядов, передовой человек, Homo novus.

Двуносый опять стал рассказывать, каких трудов ему стоило наладить беспрерывное производство, он, конечно, имел в виду торговлю пивом, но я и на этот раз вернул его к начальнику железнодорожной милиции.

— Эх, Митя, Митя. Лимоныч, в натуре, глаз — алмаз и Голова — с большой буквы! Если уж я, Феофилактович, криминальный элемент, то знай: все-все криминальные элементы уважают Лимоныча как отца родного.

И тут Двуносый поведал прямо-таки сагу, как после очередного налета конкурентов (разбитые витрины, бутыли и так далее) заявился он с челобитной к Лимонычу, который не только за пять минут решил все его вопросы, но и помог с телефоном.

Двуносый соскочил с «паука», откуда-то из-под ящиков вытащил богато оформленный аппарат с кнопочками цифр (у нас даже в редакции такого не было), набрал номер.

— Здравствуйте, это звóнит директор пивного бара... А можно Филимона Пу́плиевича?

В тесном пространстве ящиков замаячила гигантская фигура Тутатхамона — сразу все вокруг как будто уменьшилось, стало теснее.

— Надо правильно, по-культурному выражаться — не звóнит, а звони́т, и не директор, а генеральный директор, а то, понимаешь, «из грязи — в князи»!

— Хорошо, хорошо, я потом сам перезвóню, — совсем сбился с ударения Двуносый, но при этом говорил так ласково, словно на другом конце провода была не секретарь Филимона Пуплиевича, а совсем маленькая девочка, с которой, играя, он нарочно коверкал слова.

Двуносый, конечно, понял, как глупо он выглядел, а потому, положив трубку, взвился от негодования.

— Ну погоди, Тутатхамонище! Идёшь-бредёшь, а у меня человек!.. Может, у нас какая-нибудь протокольная беседа со стенографисткой?! И тут он — на тебе! Чего надобно, старче?! Хотя какой ты старче, моложе меня! — возмутился Двуносый и в сердцах пригрозил: — Достукаешься, буду начислять зарплату, всё припомню!

Тутатхамон растерялся, стал оправдываться, мол, сами предупредили, что нужно культурное обращение иметь, притом с правильным ударением. А чуть он показал свою культуру — ему тут же клизму: за что?!

— Да погоди ты паниковать, — неожиданно повеселев, остановил Двуносый. — Видал, Митя, как мы друг друга окультуриваем?! И это только начало... — Повернулся к Тутатхамону: — Ну что, родной, что там у тебя, выкладывай, — сказал с сочувствием, повинился за свои прежние наскоки.

Тутатхамон пришел выяснить, что ему делать со школой по бухгалтерскому учету, просят пять ящиков пива (у них в конце апреля — выпускной), но они ещё за Новый год не расплатились.

— Не давать, — сказал Двуносый, но тут же отменил своё распоряжение: — Нет-нет, дай, но скажи, что в ихнем новом наборе учащихся наш человек будет. У них там этих великовозрастных учетчиков из сёл навалом! Я, может, сам пойду в ихнюю школу. Бывают знания дороже мешка с золотом, а плеч не оттягивают. Правильно я говорю, Митя, или как ты считаешь?

Я согласно кивнул, хотя, честно говоря, меня начали раздражать уже и Двуносый, и Тутатхамон. В особенности Тутатхамон — действительно, пришел, прибрел!.. А у меня разговор с Двуносым был только с виду как бы то да сё... А на самом деле разговор был самый серьёзнейший, потому что расспрашивал я о начальнике милиции не из праздного любопытства, а с целью, да-да, с целью, весьма важной для меня. Потому что в тот момент меня терзала одна мысль: у кого занять денег для Розочки! Побольше и побыстрее, и желательно в СКВ — вчерашние советские рубли даже я стал называть «деревянными».

Конечно, свое недовольство я не должен был выдавать ни словом, ни жестом. И я не выдал, сказалась прежняя закалка руководителя областного литературного объединения. Эх, где они, мои Толстые?! Словом, я согласно кивнул и машинально ухмыльнулся (увы, все знания мира я променял бы сейчас на мешок с золотом). Мысль о мешке, как молния, взорвала воображение, и я как ухмыльнулся, так и остался с ухмылкой на лице. В своё время Розочка говаривала:

«Митенька, тебе страшно идёт, когда ты ухмыляешься и как бы забываешь ухмылку на лице. В тебе появляется какая-то многозначительная отвлечённость и даже пронзительный демонизм, так и кажется, что ты нарочно нахальничаешь».

Итак, я согласно кивнул и ухмыльнулся. Я и думать не думал ни о Двуносом, ни о Тутатхамоне, что они там продолжают решать. Для меня они словно испарились или провалились сквозь землю. Я вдруг увидел себя под сводами какой-то триумфальной арки, с которой свешивался глазеющий на меня сфинкс с головою и грудью Розочки.

— Ответь, что такое любовь? — сказал сфинкс, и его крылатое туловище льва шевельнулось, и лицо и грудь Розочки приблизились ко мне настолько, что я невольно привстал на цыпочки и закрыл глаза. (Не буду отрицать, я хотел поцеловать Розочку и этим поцелуем ответить сфинксу, что такое любовь.)

Но поцелуя не получилось. Я открыл глаза оттого, что сфинкс ещё больше свесился и своим правым крылом отодвинул меня от мешка с золотом, который откуда-то взялся у моих ног.

— Молодец, Митенька, молодец! Твой нетривиальный ответ спас твою Розочку, твою супругу Розарию Федоровну. Ура, ура, миру — мир!

Своими мускулистыми лапами сфинкс обхватил мешок с золотом и, оглянувшись, опять приблизился лицом и грудью...

Я закрыл глаза, я был больше чем уверен, что почувствую на губах Розочкин поцелуй. И она поцеловала, но не в губы, а в лоб. И наверное, всё же не она — я ощутил мёртвый холод камня. Когда же открыл глаза, сфинкс с такой силой ударил крыльями о воздух, что меня отбросило, словно взрывной волной.

Он поднялся над триумфальной аркой (в ознаменование чьей победы она была возведена, я не понял), деловито, как крестьянин, закинул куль с золотом за спину и, уже не оглядываясь, точно норовил скрыться по холодку, так активно заработал крыльями, что в какую-то долю секунды вначале превратился в воробья, потом в шмеля и наконец растаял в голубой выси.

А между тем в выгородке киоска атмосфера изрядно накалилась.

— Ты посмотри, как он ухмыляется, он же тать, он же Алю обратал вот этой самой ухмылкой! — разорялся Тутатхамон, а Двуносый, перекрыв собою проход, не пускал его.

— Окстись! — кричал Двуносый.

И до того удивительным было слышать в его устах наряду с внезапной латынью это вышедшее из употребления старинное слово, что я невольно рассмеялся.

— Смотри, он ещё смеётся!..

В общем, ничем не мотивированный приступ ревности.

Двуносый выпроводил своего телохранителя, но доверительный тон разговора утратился. Когда я попытался его возобновить, Двуносый не поддержал.

— Неужто ты и в самом деле тать? — не столько озабоченно, сколько задумчиво не то спросил, не то подивился Двуносый и впервые посмотрел на меня с такой равнодушной отвлечённостью, что мне стало не по себе. (Такой сухой блеск глаз пугает ударом ножа, причём обязательно в спину.)

— Да брось ты, — сказал я Двуносому. — У меня письмо от жены.

А когда сказал, что хочу у начальника железнодорожной милиции занять тысячу долларов, Двуносый вообще растерялся, прямо-таки обомлел.

— Хорошо, Феофилактович, тогда ты займи.

В ответ он всплеснул руками, хлопнул себя по коленям и в изнеможении упал на приспособление, которое, самортизировав, запрыгало вместе с ним, словно он попытался ускакать.

— Нет, Митя, нет и ещё раз нет! Откуда деньги? Они все в обороте: киоск, тент, асфальт, перегруппировка киосков... Кроме того, с меня никто не снимал наличку за охрану недвижимости!

Он объяснил, что благодаря Лимонычу они заключили серьезный и очень выгодный договор с одной бандитской фирмой по охране недвижимости.

Нет у него денег, нет, едва на зарплату сотрудникам хватает. И то — больше от капитала для решения ежедневных проблем приходится отстёгивать. А накоплений, увы, нет, совсем нет!

— Ну что ж, Розочка тоже ждать не может, у неё уже был один привод в милицию, а она, между прочим, по паспорту Роза Слёзкина, — сказал я и, как о давно решенном, отрезал: — Мне просто ничего не остается, как идти к Филимону Пуплиевичу.

— Ты с ума сошёл! — вскричал Двуносый.

Они намедни встречались с Лимонычем, кстати, и меня, Митю, по-хорошему вспоминали. «Голова» якобы даже похвалил Феофилактовича за дружбу со мной.

(Умные друзья у тебя, Феофилактович, с будущим. Помогай им советами, деньгами, всем, чем можешь. Именно эта помощь создаст тебе настоящий капитал, имидж, который поможет удержаться на гребне в будущем.)

Двуносый сказал, что, благодаря знакомству со мной, Лимоныч позвонил директору фирмы по частной охране, какому-то Толе Крезу, чтобы тот наполовину уменьшил плату за свои услуги. (Двуносый перешёл на шёпот.)

— И он уменьшил... Единственное, о чём просил Лимоныч, так это чтобы всячески помогал тебе как поэту с высшим гуманитарием. И это не только его просьба — с ним была одна особа...

— Хватит, все это не имеет никакого значения, — сказал я. (Хотя сразу догадался, кто эта особа. Мне было приятно её очевидное беспокойство о состоянии современной русской поэзии.)

— Как это — не имеет?! — схватился за голову Двуносый. — После всех наших совместных речей заявишься к Лимонычу и скажешь: займите бедному поэту тысячу баксов?! Так, что ли? Ты соображаешь, в какое положение поставишь меня, что он подумает обо мне, соображаешь?! А этот Толя Крез — ты когда-нибудь видел харю с носом, размазанным по лицу?!

— Я не скажу, что беседовал с тобой. Или скажу, что о деньгах не беседовал, потому что сам догадался, что они у него есть. Ведь это же факт, что он купил у меня стихотворение за сто долларов?

— Вот, возьми твои оставшиеся... я хотел их приберечь тебе на питание, — сказал Двуносый, оправдываясь, и, вскочив со всё ещё продолжавшего скакать членистоногого седалища, сунул мне пятидесятидолларовую бумажку. А теперь он не хочет ни видеть ничего, ни слышать — ему ничего не надо.

Никогда я не видел Двуносого таким расстроенным, а потому, как говорится, не стал перегибать палку. Осторожно, без всякого шантажа, пообещал, что не пойду к Филимону Пуплиевичу, ни за что не пойду. Но и он, Феофилактович, пусть постарается для меня — перезаймёт деньги у кого-нибудь и не беспокоится, я оставлю ему залог, папку со своими лучшими стихами.

Для Двуносого мои даже лучшие стихи имели, конечно, слабое утешение, но и ситуация у нас обоих была тупиковая. Он понимал, что из-за Розочки я вполне способен на безрассудство. В конце концов, взяв папку, он сказал, не то чтобы очень зло, но всё-таки с достаточно сильным чувством, что лучше было бы ему не останавливать Тутатхамона, который хотел задушить меня заживо.

— Нет человека — нет проблемы, — сказал он чужие известные слова с таким пониманием и выразительностью, словно хотел подчеркнуть какую-то свою претензию на их авторство.

Словом, взяв папку и потребовав от меня никуда не высовываться, Двуносый отправился, как я понял, по своим злачным местам.

— Тысячу «зелёных» для Розочки — охо-хо-хо! — воскликнул он и, наскакивая на стены из ящиков, поспешил к выходу.

В кабинете Двуносого, узкой амбарной щели, я находился более двух часов. Сдвинув приспособления, на которых мы сидели, я безуспешно пытался вздремнуть — увы, амортизируя невпопад, они теперь создавали иллюзию двух непримиримых петухов, ожесточенно наскакивающих друг на друга. Ощущалось какое-то мистическое присутствие Эдгара По, точнее, некоторых не совсем приятных его литературных героев. Временами даже страх охватывал. Впрочем, он не шёл ни в какое сравнение с тем, который нагнал на меня Тутатхамон, когда, внезапно просунув голову в проход, вдруг заорал:

— Та-ать! Хватайте та-атя!

Первое, что я подумал, — на меня совершается покушение по заказу Двуносого. Грешен, но так подумалось. Правда, уже в следующую секунду я отбросил эту мысль. На глазах у меня Тутатхамон, разъярённый, как раненый зверь, буквально в щепки

растерзал пустой деревянный ящик. Потом, пьяно икнув, обмяк и, растянувшись на полу, блаженно захрапел.

Двуносый вернулся с деньгами — шестьсот долларов!

Глава 31

Мне не хочется вспоминать, как, перешагивая через Тутатхамона, Двуносый предостерёг, чтобы и я не рехнулся из-за своей Розочки. Глупое сравнение: я — и Тутатхамон. Представьте себе сермяжного Отелло, привыкшего всё решать с кондачка, который, заигрывая, всякий раз норовит ущипнуть Дездемону за определенное место, а потом в припадке ревности ни за что ни про что душит её насмерть. Вот вам образчик тутатхамонизма, и при чём тут я?! Свет и тьма физически исключают друг друга. Тьма жаждет поглотить свет, но это невозможно, потому что, чем больше и плотнее тьма, тем ярче горит лучинка. А уж если света много, то при одном его приближении тьма рассеивается и бежит. Помните Венок сонетов —

И свет во тьме, как прежде, не погас,
И тьма его, как прежде, не объяла!

Мне не хочется вспоминать, как Двуносый самодовольно пересчитал новенькие стодолларовые бумажки, как присовокупил к ним и мою купюру, а потом вызвал такси и мы поехали на вещевой рынок. Во всём этом было мало интересного — вальс трикотажа из Прибалтики в обмен на русскую калинку цветных металлов и телевизоров. Единственное, что поражало, — в сонме мелькающих лиц и товаров Двуносый чувствовал себя действительно как рыба в воде. С отдельными людьми он не только перебрасывался ничего не значащими приветствиями, но иногда останавливался и разговаривал накоротке. А некоторых (чаще всего кавказцев) сам останавливал, спрашивал о киоске какого-то Визиря. Удивительно, что при этом с Двуносым разговаривали не как с Двуносым, владельцем трёх киосков, а как бы с неким неофициальным представителем всего русского народа. Да и сам Двуносый чувствовал свою неофициальную весомость и, как говорится, к месту и не к месту лепил что ни попадя.

— Здоров, Ша́ржик! Ну как, яйца ишо не отморозил?! А как мани-мани, маленько есть?..

— Слава Аллаху!

— Аллах Аллахом, а отморозишь — мне отвечать! — весело продолжал лепить Двуносый.

Увидев, что его шутки меня озадачивают, подмигнул и доверительно пояснил:

— Черножопики под видом «моя — не понимай» всё слопают. Потому что здесь уже не они, а я — русский. А все остальное, как говорит Толя Крез, — шелупонь!

Тем не менее возле киоска Визиря Двуносый внутренне подобрался, лицом построжел, и кстати. Визирь стоял в окружении таких же, как и он, золоторотых кавказцев, больше похожих на конокрадов, щёлкал орешки. Увидев нас, что-то сказал на своём языке, неторопливо вышел из круга и, отерев руки о бёдра, поздоровался с Двуносым.

С некоторых пор лица кавказской национальности (и тут нет никакого тутатхамонизма) навевают на меня тоску. Почему они, эти лица, так беспардонно липнут к нашим девушкам, а своих прячут от нас, хотя мы не из тех, что липнут?!

— Визирь, тебе привет от Лимоныча. Как твои дела?

— Какие мои дела?! Всякий человек того, что он приобрел, заложник. Зачем маленький человек — большому?

Двуносый кивнул на меня:

— Приодеть надо парня, приодеть с ног до головы, исподнее бельишко тоже не помешает. (Словно Лёха-мент, вытащил из бокового кармана бумажку, прочитал громко, но без всякого понятия: «Поэт, — поджидаем мы перемены судьбы над ним».)

Я сразу понял, что на бумажке был написан (уж не знаю, Лимонычем или ещё кем-нибудь) стих из Корана. И хотя я не исламист, мне стало неловко за невольную комедию — то, что прочитал Двуносый, нельзя читать так бессмысленно, и вовсе не потому, что это стих из священной книги. Бессмысленно вообще нельзя читать никакие стихи — получается как бы умышленное подсмеивание над извечным человеческим тяготением к мудрости.

Я тихо отошёл от Двуносого, тем более что дружки Визиря уставились на меня как на пугало. Словом, я почувствовал напряжение и ждал шумного разбирательства, свойственного оскорблённым кавказцам, которое, увы, ничем не отличается от русского — «Ты меня уважаешь?!». Честно говоря, в эту минуту я никого не уважал, а себя даже презирал: зачем присутствую среди этих далеких мне людей?! Поэт и торгаш — эти философские категории ещё более крайние, чем я и Тутатхамон. Каково же было моё удивление, когда Визирь, услышав слова, прочитанные Двуносым, вдруг проникся к нам таким высоким чувством уважения, что даже руку прижал к сердцу.

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Говорю: «Поджидайте, и я вместе с вами поджидаю!»

Он что-то гыркнул своим не то дружкам, не то нукерам, и они враз разошлись, понятливо кивая и поспешая.

Двуносый потянул меня за киоск. Уж не буду рассказывать, как наши новые знакомые стали подносить со всех сторон турецкие кожаные куртки,

джинсы, рубашки, английские шарфы, кепи, галстуки и бельё. Я чуть не упал в обморок, когда на трусах из стопроцентного коттона прочел на фирменной этикетке — «Манчестер Сити шортс». Это просто благо, что Двуносый заключил меня в свои шубные объятия (во время примерки он таким образом согревал меня, потому что сосульки хотя и подтаивали, а стоять полностью голым всё же было холодновато).

Когда пакеты с вещами были перевязаны и лица кавказской национальности, словно чувствуя свою известную вину передо мной из-за Розочки и пытаясь угодить именно мне (Двуносый зашёл к Визирю в киоск и что-то там задерживался), подогнали такси (из кабины выглянул водитель, такой же золоторотый, как и все они), на меня ни с того ни с сего вдруг нашло вдохновение.

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Клянусь звездой, когда она закатывается!
Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.
И говорит он не по пристрастию.
Это — только откровение, которое ниспосылается.

Я посмотрел на небо, и, как по мановению, все золоторотцы посмотрели. Я чувствовал в себе необычайную силу Аллаха повелевать.

— Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше знает тех, кто пошел по прямому пути.

Сзади меня скрипнула дверь киоска. Двуносый в сердцах матюкнулся — он едва не упал, потому что глянул не под ноги, а вслед за всеми — в небо. Вдохновения как не бывало. По инерции ляпнул, что клянусь небом: все тюремные сроки будут всем нам вовремя скошены, запахнул крылатку и, не оглядываясь, сел в машину, отодвинув пакеты.

Двуносый, как истинный физиономист, тут же определил по лицам, что в его отсутствие произошло что-то особенное, и стал допытываться:

— Эй, кунаки-нацмены, Митя-поэт, наверное, стихи читал?!

«Кунаки-нацмены» согласно закивали, а на лицах появилось священное благоговение. И немудрено, ведь я читал им стихи из суры Звезда, которые ещё в Литинституте мне очень нравились, а сейчас почему-то внезапно вспомнились.

Двуносый по-своему расценил благоговение, посчитал, что это мои собственные стихи оказали такое сильное воздействие. Ну и, конечно, обрадовался, засуетился, стал показывать «кунакам-нацменам», что он мой лучший друг. Подбежал к машине, стучит в окно, а сам радостными глазами то на меня, то на них, но больше — на них, и весь светится, светится...

— Ну что, Митя, яйца ишо не отморозил?!

О Господи, как мне надоели его яйца! Я почувствовал ужасный голод.

Возле почты, когда Двуносый отдал деньги и пересел в другую машину, я даже перекрестился от облегчения.

«Розочка! — написал я в телеграмме до востребования. — Выезжаю сегодня вечером. Привезу, что ты просила. Встретимся в двенадцать на крыльце Главпочтамта. Целую тебя — до гроба твой Митя».

Телеграфистка, принимавшая телеграмму, на последних словах остановилась своей ручкой:

— Ну зачем уж так?!

И вычеркнула «до гроба». Я не стал спорить, а когда заплатил деньги и получил квитанцию, что телеграмма принята... что она сейчас будет отправлена по назначению, во мне зазвучали серебряные струны. Нагруженный пакетами, я ощущал такую лёгкость, что не чувствовал ног.

* * *

В ранней юности я ходил на охоту с отцовским ружьем, двустволкой двенадцатого калибра. По наследству достались и его сапоги, ботфорты сорок третьего размера, которые своими высокими голенищами натирали мне в промежности. Объектом моей охоты были утки, гуси, то есть водоплавающая птица. У меня был пёс Алмаз, умнейший ирландский сеттер, с ним я никогда не возвращался без трофея, потому что он приносил к моим ногам всю дичь, подстреленную в радиусе полутора километров. Многие охотники (в особенности из городских) сердились на нас с Алмазом и даже грозились подстрелить нас обоих. Поэтому мы выходили на охоту, когда уже смеркалось и на фоне светлого неба можно было бить птицу только влёт. В это время уже никто не предъявлял нам претензий, потому что рухнувшую дичь во тьме кустов мог отыскать только пёс, точнее, мой Алмаз.

Однажды мы с ним особенно задержались. Лёгкий весенний ветерок дул в лицо, и Алмаз неутомимо, точно маятник, шёл впереди меня справа налево и обратно. Он прочёсывал своей «фирменной гребёнкой» все заросли с такой тщательностью, что мне приходилось его подзывать и удерживать, чтобы отдохнул.

Вначале где-то слева слышались плеск воды, рокот моторной лодки и оклики охотников, собирающихся домой (я ещё подумал, что пора и мне подтягиваться к железнодорожной насыпи), но потом всё смолкло. За какие-то минуты Алмаз принёс вначале одну шилохвость, а затем и вторую. Я трепетал от радости и не заметил, что небо полностью затянулось, ветерок утих и пошёл тихий тёплый дождик.

Пока я прятал в рюкзачке трофеи Алмаза, он опять убежал, я даже не заметил когда, в пяти шагах ничего не было видно. Я прислушался: ни окликов,

ни плеска воды — ничего. Всё пропиталось влагой и как будто шевелилось, набухая. Где-то далеко-далеко на реке прогремел одинокий выстрел, и тишина словно упала.

Я позвал Алмаза, но голос осел, точно в войлочном мешке.

Я выстрелил в воздух, но и гром выстрела словно ушел в подушку.

— Алмаз, Алмаз! — запаниковал я.

Радости лёгкой добычи как не бывало. Я не знал, в какой стороне наше село, куда идти. По всему горизонту, на все триста шестьдесят градусов, горели редкие зыбкие огни. Дождик перестал. Огни приблизились, отражаясь в воде, они тянулись ко мне огненными спицами, словно я стоял посреди океана. «Откуда столько много воды, где я?!» — подумалось отстранённо, словно мысль явилась где-то вне меня, и так же вне меня кто-то стал перебирать серебряные струны. Никогда в жизни я не слышал столь удивительной музыки! То, казалось, звенит ручей, то какие-то огненные спицы, а то, казалось, преломляясь в роднике, солнечные лучи перебирают гальку.

Я пошёл в одну сторону, потом в другую и наконец как бы на зов серебряных струн. Быть может, покажется странным, но, следуя сладостным звукам, я вышел к железнодорожной насыпи, у которой меня настиг Алмаз. Зачарованный музыкой, я не обратил внимания, что он трётся о мои колени и путается под ногами. И только выйдя на полотно, я пришёл в восторг, обнаружив, что он принес мне гуся, — редчайшая удача.

Рюкзачок был полон, мы шли по шпалам, посредине железнодорожной колеи, и светящиеся линии казались проницающими меня струнами. Музыка звучала теперь во мне, я был счастлив.

* * *

Первое, что я сделал, когда пришёл в общежитие, бросил пакеты на кровать и сам растянулся рядом. Неслыханная удача — у меня в кармане пятьсот долларов, а в душе музыка серебряных струн.

— Смотри, Митя, держи деньги в разных карманах, особенно баксы. Нашими тоже не фигурируй — их немного, но на поездку хватит с избытком.

Я засмеялся (советы Двуносого показались лишними) и, встав, как некогда, положил деньги в утюг. Потом, взяв на вахте ключ, спустился в душевую. Музыка серебряных струн сменилась музыкой труб. Теперь в моей душе звучали бравурные марши Первомая, изредка прерываемые здравицами, рвущимися из радиоколоколов: МИРУ — МИР! МИР — МИРУ! Все-все праздники моей жизни сейчас были со мной.

Я надевал нижнее белье («Манчестер Сити шортс») — школьный духовой оркестр играл туш. С каждым предметом одежды словно бы вручался очередной аттестат зрелости. Я натягивал джинсы — опять оркестр, но теперь уже военный, с битьем в литавры и маршировкой на Красной площади. Я брал в руки электробритву — и военный духовой оркестр на ходу перестраивался. А уж когда я примерял коричневую кожаную куртку с синтепоновым поддёвом и опробовал на её карманах замки «молнии» — в духовой оркестр, марширующий на Красной площади, стали вливаться оркестры из всех моих праздников. Английский красный шарф из королевского мохера и кавказская меховая кепка из серой нутрии довершили смотр... Когда я шел в умывальную, чтобы посмотреть на себя в большое зеркало, сводный военный оркестр направлялся к трибуне Мавзолея, а когда из зеркала глянул на меня как бы зеленоглазый кавказец с совершенно умным, светящимся от счастья лицом, я нисколько не удивился, что сводный оркестр сейчас же с воодушевлением заиграл марш «Прощание славянки».

Однажды я прочёл, в какой-то газете или брошюре, что пословица «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт» по своей сути так же точна, как точны формулы физических законов. То есть всё, о чём сказано в пословице, «имеет место быть». Автор утверждал, что в нас таится какая-то не известная науке психологическая энергия, которая в стрессовой ситуации создает вокруг человека мощнейшее силовое поле, искривляющее пространство, а может быть, выравнивающее. Во всяком случае, пули не могут преодолеть его и отклоняются от смелого человека. В заметке было представлено даже интервью со смелым человеком, который утверждал, что, будучи связистом, он сомкнул перебитые провода зубами и так с проводами лежал на площади Берлина где-то около получаса, а по нему со всех сторон строчили вражеские автоматчики, более того, снайперы вели прицельный огонь (дело было при взятии рейхстага). Он лежал, и все думали, что он давно убит (лежать с неизолированными проводами во рту — это, знаете, для живого человека не совсем даже правдоподобно). Его подняли вместе с проводами, кто-то уже плоскогубцами стал зубы разжимать, и вдруг он открыл глаза — живой, причём ни единой царапинки. Все, конечно, поначалу были потрясены, а потом пришли в неописуемый восторг: смелого пуля боится!.. Я тоже пришёл в восторг. Не знаю, есть ли силовое поле смелого человека, но готов поклясться, что счастливого — есть!

Я беру ключ от душевой — Алина Спиридоновна навстречу мне цветёт и пахнет:

— Митя, что с тобой, ты такой праздничный?!

— Алина Спиридоновна, простите, если я чем-нибудь обидел! Видит бог, не по злому умыслу, а ток-

мо чисто по своей глупости, — говорю я, немного дурачась.

В ответ Алина Спиридоновна расцветает ещё пуще:

— Ну уж вы, Митенька, скажете!.. Поэты глупыми не бывают, они бывают несчастными!

Я сказал ей, что знаю одного человека, который настолько в неё влюблен, что уже стал опасным, как неукротимый Отелло, — готов задушить всякого, в ком заподозрит конкурента.

— Митя, этот человек больше всего любит деньги. Он вначале Плюшкин, а потом уже Отелло. Кроме того, могу вас уверить, — Алина Спиридоновна покраснела, у неё стали пунцовыми даже руки, — что вас, Митенька, он не тронет — никогда!

Оказывается, в мою защиту она взяла с Тутатхамона слово... Я был польщён и, хотя всегда относился к Алине Спиридоновне свысока, признался, что сегодня вечером еду в Москву по вызову Розочки.

— По вызову, она вас вызвала?! — удивилась Алина Спиридоновна и даже как будто чего-то испугалась, но потом, когда я, счастливо смеясь, подтвердил, что еду именно по вызову, она всплакнула: — Митенька, очень рада за вас!

Почти то же самое произошло и при встрече с соседкой Томой. Правда, в отличие от Алины Спиридоновны, прежде чем всплакнуть, она шлепнула по попе Áртура, а уж потом, подхватив его на руки, побежала в свою комнату. В дверях задержалась, плачуще крикнула:

— Смотри, Митяй, не упусти своего счастья!

Другие общежитские знакомые при встрече со мной хотя и не так ярко реагировали на мое силовое поле счастья, но каким-то образом всё же слышали музыку в моей душе.

— Чего светишься, «счастливой» травки накурился?! Митя, давно тебя таким радостным не видел, готов поспорить — по лотерейке машину хапнул?!

И так далее, и так далее... Но главным было, что все, с кем доводилось перекинуться хотя бы парой слов, расставались со мной, улыбаясь. Да-да, я просто уверен, что силовое поле моего счастья — это звуки серебряных струн, на которые, как на волшебный оклик, отзывались все, кто в те удивительные минуты сталкивался со мной.

Замечательный день, день — песня. Если бы не маленькая чайная ложечка дёгтя, я бы считал этот день лучшим в своей жизни. Кстати, в этой золотой ложечке никто, кроме меня, не был виноват. Наверное, поэтому я не сразу почувствовал горечь, а она, между прочим, появилась, как только я вышел из комнаты и направился на вокзал.

Я шёл по нашему как бы вздрагивающему коридору, и навстречу мне, словно по заказу, выходили все кому не лень. И все спрашивали меня: что, Митенька, уже на вокзал?! И желали успешной поездки и скорого возвращения с суженой. Не знаю почему, но вот это «с суженой» меня коробило, и я действительно чувствовал какую-то тревогу, однако преодолел себя. Пусть остаются, а я — ухожу, так успокаивал себя, но в душе уже что-то изменилось. А когда на вахте то же самое спросила Алина Спиридоновна и в ответ так же, как и все, пожелала скорейшего возвращения с суженой — я взорвался и, ничего не ответив, так саданул дверь ногой, что многие окна задребезжали. И вот тут как будто что-то захлопнулось в душе — музыка исчезла. Каким-то просверком увидел, как сводный духовой оркестр подошёл к трибуне, остановился, опустил трубы и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, молча помаршировал назад.

Помаршировал и помаршировал, раздражённо подумал я и отбросил самоё мысль о музыке. Шагая на автобусную остановку, я проникался, может быть, и мелкими, но необходимыми заботами: добраться до вокзала, купить билет (опять же, купе или плацкарт?). Поджидая автобус, взвешивал все «за» и «против» в пользу того или иного билета. А времечко шло, бежало, тикало... Я поглядывал на часы, радуясь, что собрался на вокзал с довольно-таки большим запасом времени, до отправления поезда (в двадцать тридцать две) оставалось почти полтора часа. Впрочем, если в течение часа проходит всего один автобус, он истощит любой запас. Как бы там ни было, но, когда из-за поворота выползла светящаяся окнами «гармошка» и народ на автобусной остановке обрадованно зашевелился, я тоже обрадовался — и вдруг оцепенел. Внезапная мысль ударила точно в сердце. Я даже слегка покачнулся от боли: деньги для Розочки... Я забыл деньги: как положил их в утюг, так и оставил там.

Из оцепенения вывел ужас случившегося — до отправления поезда всего пятьдесят три минуты. В принципе уйма времени, если ехать на «гармошке» сейчас, не откладывая, но мне ещё нужно было сбегать за деньгами. И я — побежал.

Я бежал, обзывая себя самыми последними словами, среди которых «дурак», «тупица», «кретин» были, так сказать, верхом вежливости, асисяей.

Я пролетел мимо вахты и — вверх по лестнице. Я бежал по коридору, ничуть не заботясь о жильцах, — спят они или бодрствуют, мне было все равно.

Деньги лежали в утюге. Я схватил их и чуть не заплакал от непонятной горечи и обиды на всех и вся. Потом взял себя в руки и, как советовал Двуносый, положил триста долларов в куртку, а двести, вместе с советскими деньгами, в паспорт, который спрятал в кармане джинсовой сорочки. Часть советских денег засунул в карман брюк, чтобы легче было доставать их перед билетной кассой. После сел на кровать и, глубоко вздохнув, ещё раз на ощупь проверил наличие документов и денег. Потом перекрестился и,

читая мысленно молитву Спасителя, вновь побежал. На этот раз, когда пробегал, двери комнат открывались вовсе не для того, чтобы пожелать счастливого пути, — увы, меня окатывали такой бранью, которая ничем не отличалась от содержимого помойных вёдер.

— Чтоб этот поэт наконец провалился!.. Чтоб сломал себе шею!.. Чтоб, окаянный, горел и горел в аду! (И так далее, и так далее.)

На вахте встретили военной хитростью: Алина Спиридоновна закрыла входную дверь на ключ.

— Что случилось? — спросила она, держа телефонную трубку, как гранату.

— Ничего, — сказал я, продолжая твердить молитву. — Просто забыл деньги, а теперь опаздываю на поезд.

Поддёргивая пуховый платок (пыталась накинуть его повыше на плечи), она испуганно запричитала, дескать, всё не как у людей, и, открыв дверь, призвала меня бежать и бежать во всю прыть, но мною неожиданно овладело равнодушие. Я уже хотел было сказать, что не побегу, однако ноги вдруг сами понесли...

Глава 32

Я всегда говорил и сейчас говорю:

— Люди, никогда не падайте духом, уж так устроен наш материальный мир, что Бог не даёт нам ноши более той, что мы в силах нести. Иногда кажется — всё, конец, мы как бы по инерции передвигаем ноги, готовые упасть, но именно в этот самый момент вдруг начинаем чувствовать, что падать не нужно, во всяком случае сейчас. Потому что с двух сторон нас поддерживают ангелы. Да-да, ангелы! А иначе чем объяснишь, что в совершенно безвыходной ситуации всё как нельзя кстати совпало, и совпало в твою пользу? Почему в череде случайностей именно твоя карта — козырный туз, а ты находишься не где попало, а в нужное время в нужном месте?.. Потом везение будет повторяться и повторяться — ты расправишь плечи и забудешь, что был момент, когда уже готовился упасть. Так вот, я напоминаю вам: никогда не унывайте и не отчаивайтесь! Когда вам станет поистине тяжело, Он непременно окажет помощь, потому что в основе нашего мира — Его милосердие.

Я прибежал на остановку автобуса — автобуса не было. Его не было менее пяти минут, а показалось — более часа. Ехали медленно, с остановками, а при выезде на мост через Волхов и вовсе попали в пробку.

«Не унывай, не отчаивайся, ты лучше других знаешь, что Господь не оставит тебя и в нужное время в нужном месте ангелы помогут, обязательно помогут», — успокаивал я себя, а внутри закипал протест: пора бы им уже и поторопиться (до отправления поезда осталось десять минут).

Я приехал на вокзал в двадцать пятьдесят. Прошел мимо здания вокзала и сразу очутился на перроне. Возле подземного перехода стояло несколько человек, в целом же от пустоты платформ веяло той особенной пустынностью, что всегда чувствуется после ухода поезда.

Вначале я, подобно сводному духовому оркестру, развернулся на сто восемьдесят градусов и, что называется, помаршировал назад. Но потом словно ветерок пробежал по струнам, я остановился, прислушался, что-то подтолкнуло зайти в вокзал.

С трудом открыл огромную двойную дверь и сразу оказался в толпе пассажиров. Разумеется, полюбопытствовал, на какой поезд. Каково же было моё изумление, когда узнал, что все они — на московский. (С октября движение поездов перевели на зимнее расписание, и теперь московский отправлялся не в двадцать тридцать, а в двадцать один тридцать пять.)

Недолго думая, поспешил к кассам. Конечно, это смешно в моём возрасте, но я ни разу не ездил в купе. Бывать бывал, а ездить не приходилось. Поэтому, когда входил в вагон, нарочно напустил на себя форсу, словно всю жизнь только и делал, что ездил в купе. В ответ проводницы (две молодые курящие особы) как-то очень загадочно засмеялись, и одна сказала другой, но чтобы я слышал:

— Какие все же поганые люди эти «новые русские»! Наденут свои кожаны — и понту, словно этот поезд его личный.

Вагон был практически пустым. Оплачивая постель, попросил чаю. Проводница (в моём купе закурила новую сигарету) глубоко затянулась и, выпуская дым мне в лицо, поинтересовалась:

— А может, заодно и коньячку с кем-нибудь под бок?!

Выходя из купе, она посмотрела на меня как на придурка. Чтобы досадить ей, резко задвинул дверь.

— Люси, что там? — каким-то ржаво-надтреснутым голосом поинтересовалась напарница.

— Просит коньячку в постель, — нагло прохрипела Люси и закашлялась глубинным, из-под самого испода, кашлем.

«Так тебе и надо, лживая бестия!» — подумал я о Люси, но когда напарница сказала, что надо будет проследить за кожаном, то есть за мной, чтоб не ушёл с чужими вещичками, мне проводниц стало жалко, особенно Люси. Разговаривать с вором, как она разговаривала, нужна отвага. Люси, наверное, и больная, и лживая, но смелая, а смелого пуля боится, решил я в пользу Люси и, сняв финские полусапожки, забрался, согласно билету, на верхнюю полку, на постель, которую, быть может, как раз Люси загодя и приготовила.

Удивителен мир! Прекрасен и противоречив!..

Мне хотелось музыки души. Стараясь не думать о Розочке, я все же настраивался на неё, но музыки не было. Нет-нет, я и не предполагал спать: полумрак купе, перестук колес, дальние огоньки деревень, исчезающие во тьме, — всё это требовало от меня какого-то радостного отзыва. Во всяком случае, умом я желал музыки, но сердце молчало, молчало, словно одеревенев.

Итак, я счастливейший человек! (Никаких струн, будто речь вовсе не обо мне.) Ещё сегодня утром я и не помышлял, что поеду в Москву, и тем не менее я еду. Я еду в Москву, я еду к Розочке! (Ничего!) Может, и мои Небесной Силы бесплотные ангелы едут сейчас со мной?! (Я нисколько не иронизировал — это был жест отчаяния.)

За свою жизнь я прочитал множество всякой литературы о «жизни после смерти» и пришёл к выводу, что гениальное произведение, которое сразу же будет признано гениальным, расскажет нам, в художественном осмыслении, конечно, о реальной связи видимого (физического) и невидимого (духовного) миров. (Что эти миры связаны и мы кормимся духовным миром, никогда не являлось тайной ни для какой религии.) Все выдающиеся произведения литературы и искусства, все выдающиеся научные открытия были в буквальном смысле вымолены у Бога. Он потому отзывался и отзывается на наши мольбы, что в идеале видит, как физический и духовный миры не только сблизятся, но и первый войдет во второй, и это вхождение станет вхождением человека в рай. Меня нисколько не удивляют открытия в ядерной физике и генетике, меня удивляет даже не эликсир бессмертия, к которому якобы стремится все прогрессивное человечество. Меня удивляет и беспокоит бессмертный человек! С его приходом связь миров неизбежно нарушится, мир духовный, как более тонкий, утратится, и на земле восторжествует глина, из которой бессмертный и сотворен.

Мне приснилось, что я сижу в какой-то грязной комнате, на каком-то жестком стуле у окна. Мне хорошо видно натоптанную на снегу тропку повдоль длинного арочного строения из голубого пластика. По этой тропке должна прийти Розочка, она знает, что я в этой ужасной комнате. Я стерегу тропку, я боюсь пропустить Розочку, но всё же отвлекаюсь (я уверен, что прежде Розочки появится музыка души): я то и дело запускаю руку то в один внутренний карман, то в другой — проверяю наличие долларов. Доллары на месте, но тропка вся взрыхлена (ископычена) Розочкиными туфельками, точнее, каблучками. По крайней мере, я думаю, что прокараулил Розочку.

Я слышу лёгкий и тихий стук в дверь. Я хочу оглянуться, но не успеваю, мягкие меховые варежки закрывают мне глаза. Я слышу чудесный запах французских духов. Я прижимаю её ласковые руки к своим губам и слышу новый, теперь уже громкий и твёрдый стук. Поднимаю глаза и обмираю: сзади меня стоит бессмертный человек, он же — люмпен-интеллигент. Из черных ноздрей как бы клубятся дымки — пучочки рыжих волос. Кстати, меховые перчатки вовсе не перчатки, а плотно волосатые руки. Я всё ещё надеюсь, что обознался, осторожно взглядываю на ноги бессмертного... и прихожу в ужас (вместо ступней — голубые копыта!).

Да-да, это он ископытил тропку, перебежал дорогу Розочке и закрыл дверь, чтобы не впускать её. Волосы на голове зашевелились. В порыве отчаяния вскочил, чтобы схватиться с этим новым Кощеем, и чуть не свалился на пол.

В дверь купе так громко стучали железом по железу, что спросонок показалось — ломятся, чтобы спасти меня.

— Эй, новенький русский, ты здесь?!

— Здесь, здесь, Розочка! — откликнулся непроизвольно и, укусив руку, окончательно проснулся.

— Смотри-ка — Розочка?! Может, я — Балда Ивановна?!

Люси хрипло засмеялась и тут же закашлялась — глубинно, с легочным подскребом. Я отодвинул дверь.

— Вы бы в больницу сходили на флюорографию. У вас пневмония, — сказал с сочувствием.

— Ага, двусторонняя, — с удовольствием подтвердила Люси и объявила, что через полчаса туалеты будут закрыты — Москва. И уже — мне: — Всего-то и делов — с американских сигарет перешла на «Яву».

Я расстался с Люси и её напарницей почти дружески, но знакомство с ними оставило тягостное впечатление. Эти девушки, сами того не сознавая, демонстрировали своим поведением перемены, происходящие в стране. Какая уж тут музыка?!

Господи, мой лучший город, Москва! В ней прошли мои студенческие годы, здесь мы с Розочкой встретились, ходили в Третьяковку, Пушкинский, тусовались на поэтических сборищах у памятника Александру Сергеевичу. А поездки: в Поленово, Шахматово, Константиново (как зеницу ока берегу фарфоровую стопочку с яркими желтыми подсолнухами по внешней стороне, которую купил там, в сельском магазине, и там же опробовал с однокашниками на высоком и зелёном берегу Оки во здравие великого Русского Поэта). А поездки в Загорск, Абрамцево и просто на природу, как мы тогда говорили — на пленэр?!

Хорошо помню, как впервые приехал из Барнаула: динамики играли бравурную музыку, диктор ежеминутно сообщала, что мы подъезжаем к столице

нашей Родины, красивейшему городу — Москве! Перечислялись спортивные общества, стадионы, парки, учебные заведения, среди которых мой слух выделил МГУ, единственные в мире Литинститут, ВГИК и Университет имени Патриса Лумумбы. Во всем ощущалась добротность, порядок и государственная любовь к новому советскому человеку.

Где это всё? Почему же, как ящерица,
холодны и мерзки милые рты?
Не знает никто, ведь в вазе не старятся
из мертвой бумаги — живые цветы.

В самом деле, где чистота, порядок и государственная любовь?! Где сам советский человек, куда делся? Во всех трудовых коллективах его воспитанию отдавалось все свободное и несвободное время, и вдруг на́ тебе, его нет, исчез! И что любопытно, даже следов не оставил. Я вот думаю, может, новый советский человек всё-таки не исчез, не канул в Лету, а мгновенно трансформировался в «нового русского», азербайджанца, армянина, грузина и так далее, и так далее?!

Москва! Москва!.. Как и в давние времена, меня сразу же захватил людской водоворот. Однако его нельзя было сравнить с тем, прежним: чистеньким, празднично-приподнятым и в то же время всегда вежливо-робким и отзывчивым. Увы, этот водоворот был другим, он нёс на себе печать всех внешних и внутренних нечистот. Переполненные и перевёрнутые урны, мусор, битое стекло, клочья газет и оберточной бумаги, втоптанные в блевотину и жижу, грязь и зловоние, — все это напоминало втягивающую воронку болота, пукающую ядовитыми газами. Я чувствовал, что не вписываюсь в толпу. Несколько раз меня останавливали дружески подмигивающие личности. Опасливо оглядываясь, предлагали немедленно пройти в подворотню, обещая сейчас же осчастливить какими-то непонятными товарами за весьма и весьма низкую цену.

Внутри вокзала были та же грязь и беспредел. Возле бюста Ленина стояла непроходимая толпа (слушала частушечников). Запомнилось: «А наш Попа Гавриил москвичам х... побрил! Попа — ж... Америка — Европа! Быдло Эльца приподняло, Эльца Быдлу приподнял — тута Быдло Эльцей стало, ну а Эльца Быдлой стал! Опа — ж... Америка — Европа!»

Откровенно говоря, мне частушки не понравились. Я люблю частушки весёлые, остроумные, добрые. И уж никак не грязные и злобные. Судя по тому, что «народ безмолвствовал», частушки пелись не для людей, а для ленинского бюста.

Москва, Москва, как ты пала! Россия будет спасена провинцией, которую, как и прежде, ты, столица, обманываешь в своих подворотнях. Слава богу, что «народ безмолвствует»!

В очереди за пирожками то и дело возникала перебранка по причине политических пристрастий.

К лотку подошли два плотно сбитых парня в таких же, как и я, кожанах. Оттеснили так называемых первоочередников, стали набирать в пакет пирожки. Очередь заволновалась, приказала лоточнице не обслуживать нахалов. Нахалы, недолго думая, сняли лоток с табуретки (для равновесия он стоял одним концом на ней) и по-хозяйски покатили его в другой конец зала. Лоточница тоже как ни в чём не бывало пошла за ними.

— Милиция, где милиция?! Я — фронтовик! — закричал небритый мужчина с большим сомовьим ртом.

Я обратил внимание, что на людях и у меня рот непомерно увеличивался от голода.

— Тише ори, а то вернутся и навшивают, — осадил фронтовика такой же небритый и большеротый. И пояснил: — Это же бандиты на своей работе.

Очередь распалась и разошлась. Всюду царил беспредел. Уж на что московское метро?! Окурки и мятые коробки из-под сигарет на мраморном полу.

Даже в некогда образцовой пельменной у Красных Ворот, в которую зашёл не столько перекусить, сколько возобновить музыку души (перед встречей с Розочкой), царили заброшенность и запустение. Помнится, всегда смешила и восхищала просьба администрации пельменной к своим посетителям, заключённая, словно некий портрет, в огромную дубовую раму под стеклом: «Пальцы и яйца в соль не макать!»

Стекло было разбито, а просьба вырвана вместе с фанерой, на которой крепилась. Огромная дубовая рама, заключавшая в себе пустоту, угрожающе покачивалась, словно предупреждала, что вот-вот должна сорваться с гвоздя и упасть.

Пельмени тоже были другими, больше похожими на украинские галушки и, как галушки, полностью из теста, то есть без начинки.

На раздатке громко ругался небритый мужчина, очевидно, «фронтовик», грязный и большеротый. Выяснял, почему пельмени без мяса. Оказывается, фарш закончился ещё вчера, а мясо подвезут только завтра.

Странное дело — галушки мне понравились, особенно бульон, но музыки в душе не было. Я приехал в какую-то совсем другую Москву — мы не узнавали друг друга.

Глава 33

По гусарской традиции ровно без пятнадцати двенадцать уже стоял на крыльце московского Главпочтамта. Я пришёл много раньше и уже успел отовариться в магазине «Чай». Купил две пачки печенья, одну маленькую сахара и банку растворимого кофе.

Всё это положили мне в красивейший пакет с изображением летящего под всеми парусами английского чайного клипера «Катти Сарк», в руках с которым сразу почувствовал себя уверенней, и только после отправился на Главпочтамт. Времени (до двенадцати) было уйма. Успел дважды пройти по кругу огромного зала с бесчисленными окошечками и даже помог одной бабке заполнить извещение. (Ей посылали деньги до востребования, чтобы её сын, алкоголик, ничего не знал о них, потому что всё, что адресовалось бабке, он с угрозами отнимал и тут же беспощадно пропивал.) На минуту представил себя на месте опустившегося забулдыги, рядом со своей милой мамой, и чуть не вскрикнул от горькой обиды — тогда уж лучше вниз головой с виадука, да так, чтобы сразу под поезд!

Прогуливаясь по залу, я не спускал глаз с молоденьких девушек, появляющихся в зале или задумчиво стоящих у окошек (каждая из них могла быть Розочкой). Конечно, требовались сноровка и артистичность, чтобы, не привлекая к себе внимания, подходить к ним, а потом удаляться как ни в чём не бывало. Словом, за ухищрениями время прошло так быстро, что мне пришлось выбежать из зала, чтобы не нарушить особой гусарской традиции.

Итак, без пятнадцати двенадцать я стоял на крыльце и с удивлением наблюдал, как со всех сторон ко мне спешили люди. Впрочем, они спешили не ко мне: рядом на ступеньке расположился меновщик, который, держа деньги, как колоду карт, зазывно объявлял: доллары, доллары! А рассчитываясь, повторял, точно попка, что у него — как в Центробанке.

За несколько минут соседства с ним голова до того вспухла от его «долларов» и «Центробанка», что я вынужден был перейти на другую сторону достаточно обширного (слава богу!) крыльца. Да, конечно, мое место здесь было менее выгодным (людской поток из метро проходил возле меновщика), зато здесь никто не мог заглушить моей внутренней музыки, которую я ещё не слышал, но уже предчувствовал.

Благодаря пакету, а точнее, клиперу «Катти Сарк» я был достаточно заметен, но ведь всякое случается?! Помня об ужасном сне, я ни на секунду не отвлекался. И пусть простят меня молодые красивые девушки, но тогда каждую из них, ступившую на крыльцо Главпочтамта, я буквально ощупывал своим бдительным взглядом.

Розочка появилась неожиданно, где-то минут за пять до назначенного времени. И совсем не с той стороны, с которой ждал, не со стороны метро. Она появилась со стороны телеграфа (может, разговаривала по междугородному?). Во всяком случае, я стоял к ней почти спиной, когда вдруг услышал музыку — энергичный и в то же время раздумчивый перебор струн, очень похожий на тот, каким сопровождал своё последнее выступление в МГУ Владимир Семёнович Высоцкий (переберёт струны и задумается, что же ещё исполнить?). Так и здесь, кто-то неторопливо перебрал струны и призадумался. Да-да, призадумался, а я, как сводный духовой оркестр, круто повернулся на сто восемьдесят градусов и каким-то внезапным внутренним взором, нетнет, не увидел, а скорее почувствовал, как музыканты придвинули мундштуки к губам и заиграли туш. Это длилось секунду, а может, долю секунды, но я уже точно знал, что девушка, идущая со стороны телеграфа, — Розочка.

На ней была такая же, как моя, крылатка и из такого же, как у меня, байкового одеяла. Я даже разглядел на груди три застиранных полосы непонятного цвета (примечательная деталь для всех общежитских одеял).

Музыку — отрезало. Я почувствовал, как подкатил комок к горлу и глаза отяжелели. Моя Розочка — в гайдаровской крылатке?! А как же английское белье?! А как же мать Розария Российская?! Господи, только не это, пусть у неё всё будет лучше, чем у меня! Впрочем, для матери Терезы одежды внешние не имели никакого значения...

Опять музыка. Розочка увидела меня, нервно передёрнула плечами, наклонила голову и закрыла рукой левый глаз и всю щёку, впечатление — что она чего-то застеснялась. А музыка струн всё длилась и длилась!.. «Розочка, даю слово, что ты будешь ходить в кожаном пальто с воротником из ламы!» — мысленно вскричал я и бросился ей навстречу.

Розочка меня не узнала — я ошибся, решив, что она меня увидела. Когда я спешил навстречу, она исподлобья посматривала одним правым глазом то на меня, то на мой пакет. Она даже посторонилась, чтобы не столкнуться со мной.

— Розочка! — окликнул я её и остановился.

Она тоже остановилась, в удивлении всплеснула руками — я увидел тёмно-синий с вишневым подтеком фингал под левым глазом. Он казался каким-то дополнительным уродливым оком.

Музыка стала затихать, то есть я остановился, а сводный духовой оркестр продолжал маршировать в прежнем направлении, унося за собой музыку.

— Митя, это ты?! — Розочка шагнула ко мне. — Неужели это ты?!

Я обнял её (конечно, крепко, конечно, истосковавшись!).

— Лицо!.. — взмолилась она и стала хлопать меня по спине. — Сумасшедший, отпусти! Давай хоть уйдем с тротуара...

Голос её угас, мы чуть не задохнулись — я поцеловал её так, как она учила, втянув губы в губы.

— Сумасшедший, — опять вскрикнула Розочка, но не обидно, а, узнав свою школу, даже несколько самодовольно.

Я осмелел окончательно (почувствовал себя большим, сильным) и потребовал, чтобы она немедленно сказала мне, кто, где и когда поставил ей фингал.

— А-а, это ещё во время моего первого привода, — ответила Розочка и попросила меня не огорчаться, потому что с фингалом ей повезло, милиционеры испугались за свои шкуры и не подвергли её задержанию, как некоторых.

— Господи, какому задержанию?! — ужаснулся я, но Розочка уже рассердилась, потянула меня за рукав к метро.

Впрочем, мы миновали метро, прошли по какому-то переулку и оказались на улице Огородная слобода. Стараясь смягчить Розочку, её рассерженное молчание, я сказал, что о подобной Москве ничего не знал и не ведал, какая всё-таки большая Москва, не город, а целое государство!

Розочка промолчала. Тогда я напрямую заявил, что поднять руку на человека, красивую женщину, наконец, — это по меньшей мере просто постыдно!.. Разумеется, я старался реабилитироваться в её глазах.

Она остановилась, стала шарить под крылаткой. Кстати, крылатка была много лучше моей, края подвёрнуты и прострочены самой настоящей машинкой, её вполне можно было бы принять за фабричную, если бы не овальный штамп на плече с надписью чёрной несмывающейся тушью: «Бабушкинский район, больница № ...» Номера не было, вместо него — беловатое пятно, оставшееся от вытравливания.

Розочка вынула просторную серую кепку-восьмиклинку с маленьким, едва заметным козырьком. Натянула её набок, на фингал, теперь только правый тёмно-синий глаз весело светился из-под козырька.

— Ну как одёжка, похожа я на свою цель?! Имей в виду, что мать Тереза начинала даже не с медсестры, а с самой простой нянечки.

Видит бог, при всей своей фантазии я не мог представить мать Терезу в кепке. В накидке — пожалуйста, а вот чтобы в кепке и накидке — ни в коем случае.

— Ты знаешь, Розочка, — сказал я виновато, — ты все же больше похожа на английскую принцессу Диану.

Почему так сказал, и сам не знаю. Я действительно видел фотографии в каком-то журнале мод: «Под принцессу Ди». Топ-модель рекламировала головные уборы, в том числе и очень просторную кепку. И что хорошо запомнилось, она была не в крылатке или какой-нибудь накидке, она была в пляжном костюме, стилизованном под матроску.

— Принцесса из Манчестер Сити?! — воскликнула Розочка.

Я закрыл глаза. Манчестер Сити всегда вызывал во мне сложные чувства, а после многозначительного восклицания я готов был ко всему. Но Розочка тем и замечательна, что непредсказуема! Вместо пощёчины, которую я ждал, она одарила меня восторженными поцелуями.

— Какой всё-таки ты, Митя, лапидарствующий сибарит! (Новые слова в лексиконе!)

Ни один мускул не дрогнул на моем лице, хотя «лапидарствующий сибарит» для меня был так же неприемлем, как мать Тереза в кепке, а принцесса Ди — в крылатке из казенного одеяла. Тем не менее ни один мускул...

— Митя, я же тебе сказала комплимент. Ты знаешь значение?!

Я мотнул головой: нет, не знаю. Розочка засмеялась — кто не знает, тот отдыхает! И рассказала, что у них на квартире иногда собираются клёвые парни из театральных студий, и вот один из этих клёвых (такой хитренький красавчик) недавно, выказывая ей своё полнейшее восхищение, сказал, что она лапидарствующая сибаритка, то есть превосходящая всех своими неисчислимыми достоинствами.

Я сразу же возненавидел хитренького красавчика, а когда Розочка стала рассказывать, какой он талантливый, находчивый и невозмутимый, я возненавидел его просто лютой ненавистью. В слове «красавчик» мне стало слышаться «крысавчик».

Мы шли под арками больших каменных домов, затем через одноэтажные, почти барачные дворики. Потом опять — под арками и опять — через дворики. Наш разговор был труднопередаваемым, а временами я вовсе не понимал, о чём речь. То Розочка спрашивала, действительно ли моя куртка кожаная, то живо интересовалась качеством джинсов, а мою меховую кепку примерила — и так и осталась в ней.

— Знаешь, Митя, — сказала она под одной из арок. — Я говорю тебе это только потому, что ты — Митя. Мы с тобой могли бы, если бы ты захотел, очень выгодно продать твои куртку и джинсы через этого лапидарствующего сибарита.

— Крысавчика?! — уколол я и поинтересовался: — А мне придется остаться в нижнем белье?!

Розочка успокоила: она знает девчонок, которые из больничных одеял шьют не только моднячие, как у неё, накидки, но и самые настоящие куртки и брюки по фасону шаровар «Рибок».

Я отклонил предложение. Розочка рассердилась, молча взяла у меня пакет, положила в него свою серую кепку и пошла впереди. Я поплелся сзади — ну что она, в самом деле, придумывает? Я прилично одет, и то она привередничает, а когда оденусь в «самиздатский Рибок» — вовсе отвернется. (Кроме того, я подозревал, что куртку и джинсы она присмотрела для хитренького крысавчика.)

Мы зашли в глухой одноэтажный дворик. Розочка вдруг круто повернулась:

— Слушай, Митяйка, может, у тебя сроду и денег нет — ты что написал в телеграмме? Может, ты решил наколоть свою Розочку? Не выйдет!

Никогда я не чувствовал себя столь раздавленным. И кем?! По сути, родным человеком. Я — Митяйка?! Никогда прежде она не называла меня так!.. Дома и дворик покачнулись, мне стало дурно. Наверное, Розочка заметила... Подскочила, обняла меня, чтобы не упал.

— Спасибо, — сказал я и отстранился, дескать, все нормально, кризис миновал. — У меня есть деньги, много денег! Я — не Митяйка! Я — капитан Пэрэрро, торговец черным деревом!..

Розочка поняла, что перегрузила корабль, мой «Катти Сарк», засуетилась:

— Хорошо, Митяйка... ты — не Митяйка! У тебя есть деньги, много денег, я тебе верю, верю... Я даже не прошу тебя, Митенька, их показывать, не надо... Мы уже пришли... Потом, Митенька, потом... Вот наша крыша.

Крыша действительно была замечательная, почти готическая, покрытая рубероидом, местами оторванным от реек, которые высоко вверху смыкались, напоминая некий скелет чума. Она давно бы рухнула, если бы не прилепливалась к торцу трёхэтажного дома из красного кирпича, к которому с течением времени припаялась намертво и стала как бы и его частью. Под такой грандиозной крышей самого одноэтажного строения словно и не было. Но оно было: навесная дверь с амбарным замком, маленькое деревенское окно с крестовидной рамой и железной решеткой внутри и, наконец, уборная — тоже прилепленная к торцу трёхэтажки и сооруженная как бы наспех из всякого попавшегося под руку стройматериала (от обломанного листа шифера и куска фанеры до побитого кухонного подноса и местами облупленной шахматной доски).

Мы с Розочкой прошли к двери по натоптанной на снегу тропинке (в тени многоэтажек снег во дворике только-только подтаивал), висячий на петле замок оказался фикцией (Розочка сняла его без ключа). По-настоящему пугающей выглядела чёрная дощечка, прибитая над дверью. С надписью «Высокое напряжение» и рисунком черепа с костями.

В сенях действительно валялись какие-то оголённые провода, а дверь в помещение была обита жестью, на которой красной краской был изображен зигзаг молнии и выведено «Смертельно!». Словом, в сенях все выглядело настолько правдоподобно, что я постарался не наступать на провода.

Между тем Розочка вставила в английский замок ключик, и дверь, недовольно прорычав, отворилась. Она была толстой, массивной, обитой изнутри дерматиновым утеплителем.

Из жилого помещения дохнуло лекарствами и больничным теплом.

— Вот мы и дома! Входи, — сказала Розочка и, притянув вновь зарычавшую дверь, щёлкнула выключателем.

Неоновая лампа под потолком, знакомо позванивая, задребезжала и, мигнув, наконец вспыхнула, да так ярко, что я зажмурился.

Возле окна, рядом с тёмно-синей отопительной батареей, стоял стул. Розочка на него сбросила крылатку, пригласила вместе с нею осмотреть «наши апартаменты» — так она сказала.

Апартаменты состояли из прихожей, довольнотаки просторной (мебель я уже указал — стул возле окна), и двух отдельных комнат. Розочкиной, когда заходишь с улицы — налево, за окном. И её соседки (тоже подрабатывающей на «скорой») — направо, за настенным зеркалом и умывальной раковиной с двумя чугунными кранами для холодной и горячей воды.

Вначале мы вошли к соседке (так захотелось Розочке). Комната была большой, очень большой, квадратов двадцать! Стены абсолютно голые и жёлтые (так желтеет водная эмульсия). Окно крестьянское, то есть такое же, как в прихожей, только стекла полностью забеленные, как в общественном туалете, и железная решетка не из рифленых арматурин, а катанки (лампочка на длинном шнуре светила достаточно ярко, я рассмотрел). Рядом с окном стояла белая, явно больничная тумбочка с приоткрытой дверкой. На ней лежали какие-то медикаменты, пахло карболкой и этиловым спиртом. На некотором удалении от неё кровать, полутораспальная, с панцирной сеткой, на которой (у большой спинки) лежал скрученный, как на вагонной полке, матрас без матрасовки, а на нём подушка без наволочки. (Кстати, я обратил внимание, что в скрученном матрасе никаких простыней не было.) Ещё из утвари: вешалка, прибитая к двери, открывающейся внутрь комнаты, и помойное ведро с веником.

— Негусто, — сказал я самодовольно (всё-таки моё жильё было богаче). Но Розочка тут же парировала, что всякие мебеля — мещанство! Лично ей не нужны ни столы, ни шифоньеры, ни даже электроплитка, которая недавно перегорела, потому что после учёбы и двенадцатичасового дежурства проще поесть в какой-нибудь забегаловке, а лишний час лучше поваляться в постели.

Она прижалась ко мне, и тут началось что-то невообразимое. Дело в том, что, сбросив накидку, Розочка осталась в медицинском халате. Я полагал, что она надела его на какую-нибудь одежду. Может, на джинсы и кофточку, ну, не джинсы, так трусики, — ничего подобного.

На ней были, кроме халата, туфли на полушпильках и сползшие на колени чулки. Вот и всё...

— Что, Митенька?!

Она повернула мою меховую кепку козырьком назад и до того потешной стала с этим фингалом — точь-в-точь сорванец-хулиган! А сама плутовски-плутовски так посмотрела на меня снизу вверх, перехватила взгляд и опустила глаза. Но не долу, а в разрез расстегнутого на груди халата, да так красноречиво, словно указывала — вот где твоё настоящее богатство, вот где твои настоящие мебеля!

Сказать, что я согласился с нею, стало быть, ничего не сказать. Потому что её указание глазами открыло мне такие глубины истинной красоты, что в мгновение ока я взлетел в небеса и, грянув оземь, обернулся добрым молодцем Иваном-царевичем. А уж если ты почувствовал себя добрым молодцем, да ещё и Иваном-царевичем, то никак не забоишься взять свою царевну на руки.

И я взял её и понёс в горенку-то светлую, на покрывала-то атласные, на перины-то мягкие, на перины-то пуховые.

Проклятая дверь! Я уже говорил, что она открывалась внутрь комнаты. Одолел я её. С превеликим трудом, но всё ж таки... Одолеть-то одолел, но и силушку-то порастратил свою молодецкую.

Розочка хохочет — весело ей, а у меня от напряга огонь в глазах. Шаг ступлю и проваливаюсь, не держит меня мать-земля. А тут ещё и раковина умывальная, зацепился за неё, ну и на пол сел. Но Розочки не выпустил, чтобы, не дай бог, не ушиблась она, а уж о своих ушибах я и думать не смел.

Розочка вскочила, смеясь, набросила крючок на входную дверь и давай меня поднимать — кепку уронила, туфли свалились, халат раскрылся, но она и не подумала отступать. Хохоча, потащила меня за руку, и тогда я опять взмыл, взмыл в небеса хищной птицей, кречетом, кречетом весьма сильным. И оттуда, с небес, набросился я на свою голубку, а она и сама стряхнула с себя одежды и ещё краше стала.

— Розочка! — вскричал я в восторге. — Вот твои деньги!

Я вынул из внутреннего кармана кожанки триста долларов и вложил ей в руку.

— О-о! — воскликнула она.

Потом несколько раз пересчитала три сотенные и так быстро и ловко спрятала их, что я не заметил куда. Впрочем, я и не старался заметить. Наоборот, я пытался попасть рукой в карман своей джинсовой сорочки, чтобы извлечь оттуда и другие оставшиеся деньги. Двуносовская предусмотрительность, которой я следовал, показалась мне в тот момент преступной. Но я ничего не мог поделать, рука скользила мимо — клапан кармана мешал мне.

Розочка по-своему истолковала мои действия. Стала помогать стаскивать кожанку и другие всякие одежды. Это было так здорово, так великолепно, что в порыве великой откровенности я спросил её:

— Розочка, если я стану богатым человеком, ну, не миллионером, а благосостоятельным — ты вернешься, ты захочешь быть вместе со мной?

— А я что делаю, — залилась весёлым смехом Розочка, — я уже вернулась, я уже хочу быть с тобой!..

Мы обнялись, как Иван-царевич со царевной, и унеслись в тридевятое царство, в тридесятое государство. А всё, что там было с нами, — я называю сладостным безумием.

Где-то к утру страшный стук в дверь достал нас аж в тридевятом царстве. Розочка приподнялась, мы поцеловались, а потом она сказала, что ей надо одеться и открыть дверь — соседка вернулась. В полумраке комнаты Розочка не смогла отыскать халат, я посоветовал ей надеть мои джинсы и кожанку. Она надела и побежала в своих полушпильках (характерный стук гвоздиков). Потом послышались голоса женские и мужские и общий веселый смех.

Розочка открыла дверь. В полосе света она — новая амазонка! Она молчаливо подходит ко мне, медленно наклоняется, словно выполняет какой-то важный ритуал. Во всяком случае, когда я пытаюсь взять её за руки, она отстраняется. Я не хочу перечить, она опять наклоняется и очень задумчиво целует меня в лоб. Мне смешно, я привлекаю её, и мы целуемся в губы.

— Сумасшедший, — нежно констатирует она и просит, чтобы я отдыхал — ей нужно поговорить с соседкой. — В любом случае, Митенька, знай, ты для меня лучше всех!

Я приподнимаю голову, новая амазонка в полосе света. Дверь закрылась, я роняю голову и засыпаю. Засыпаю легко и радостно, точно святой.

Глава 34

Я открыл глаза. Отставшая от потолка краска свисала как бы складками материи, она создавала эффект купола парашюта. Я лежал и, улыбаясь, парил — жизнь прекрасна! Минуту назад я пришёл к выводу, что человек может быть не просто счастливым, а бесконечно счастливым. Да-да, бесконечно... Возьмём меня — выспавшийся, довольный, я не просто валяюсь в постели, а тщусь услышать музыку серебряных струн. Кажется, всё получил, всё есть, ну что тебе ещё надо?! А вот надо...

Я оглядываю Розочкину комнату, здесь всё как у соседки: кровать, тумбочка, окно... Нет-нет, оконные стекла забелены не полностью, верхний свет как раз и освещает «купол парашюта». И ещё — у Розочки нет ведра с веником. Зато у неё есть простыни! Как хорошо, как замечательно! Не зря говорится, что счастье оглупляет.

Я жду Розочку — откуда-то знаю, что она пошла приготовить кофе, которое подаст мне вместе с пе-

ченьем в постель. Что ни говорите, а жизнь семейная сладостна даже вот таким ожиданием. Зачем прислушиваться к музыке, она приблизится к моему изголовью вместе с Розочкой!

Прорычала входная дверь, голоса — мужской, настаивающий, и женский, виновато-умоляющий. Голоса другие, не те, что разбудили перед утром. И Розочки среди них нет?! Да, нет, — отметил с уверенностью. А где же она может быть? Наверное, побежала в забегаловку за кипятком. Естественно, ведь электроплитка перегорела.

И опять блаженство: открою банку с кофе, а она будет наливать кипяток из термоса и размешивать. Мне так отчётливо всё привиделось, что я даже услышал запах кофе.

Между тем голоса стали глуше. Очевидно, соседка пригласила гостя в комнату. Однако тогда женский голос был совсем другим, более проникающим, что ли! Я ещё находился под впечатлением голосов, когда соседская дверь резко хлопнула и сердито спешащие мужские шаги исчезли, то есть утонули в не менее сердитом рыканье входной двери. Воцарилась какая-то плотная тишина. Соседки не было слышно. Я уже стал подумывать, что каким-то образом пропустил её и она ушла с сердитым мужчиной. Но нет, внезапно дверь в нашу комнату отворилась (я почему-то лежал головой к двери).

— А-а, вот они где!..

В груди похолодело. Такого радостно-свирепого клика я никогда не слышал. Резко сел, готовый ко всему, но соседка уже выбежала:

— Ну Розка, ну миссионерка любви!.. Все никак неймётся — опять слямзила простыни!

Рычание входной двери поглотило и эту разъяренную брань.

Я остался один. Тревожное чувство охватило меня. Какое-то время ещё лежал, ждал Розочку, но всё-таки решил одеться. Рукой пошарил рядом с кроватью — трусы (не хотелось думать, но невольно подумалось: из Манчестер Сити), кальсоны (голубоватые, финские, с белой мелкой полоской повдоль) и сорочка (джинсовая, с большими нагрудными карманами). Когда надевал её — выпал паспорт, но я не хватился и, только основательно занявшись поиском брюк, а потом и куртки, нашёл его под кроватью. Нашёл, и сразу как током ударило — деньги! Деньги, и советские, и двести долларов, оказались на месте, в паспорте, в целлофановом карманчике. Не знаю почему, но это вселило в меня дополнительную уверенность, что Розочка скоро вернётся. В самом деле, ведь не может она уйти в моей кепке, куртке и, наконец, в моих штанах?!

Я заправил сорочку в кальсоны, надел землистого цвета постиранные носки, обул полусапожки и только после вышел в прихожую.

На стуле возле окна лежала Розочкина крылатка, то есть накидка. Я поднял её, всё ещё надеясь, что под нею найду хотя бы брюки — ничего... серая просторная кепка упала мне на ноги. Не знаю почему, но именно она подвигнула меня на решительные действия.

Я притянул входную дверь и, закрыв на крючок, не стесняясь, вошёл в комнату соседки. Здесь всё было так же, как и вчера, — голая, практически пустая комната. Говорить, что в поисках своей верхней одежды я перевернул в ней всё кверху дном, — глупо. Здесь нечего было переворачивать. Но я осмотрел все углы, все изгибы с такой тщательностью, что, выходя из комнаты, был уверен — в этой квартире моих брюк и куртки нету. Более того, нету и моего пакета с содержимым. Да бог с ним, с пакетом!..

Я накинул Розочкину крылатку и поспешил во двор.

День был великолепным! Солнце стояло в проёме двух тёмно-серых, почти тёмно-синих многоэтажек, и весь дворик утопал в дыхании синевы. Нет-нет, я не оговорился, именно в дыхании, так казалось потому, что, соприкасаясь с тенью, лучи как бы вскипали на слюдянисто-синей корочке снега, и он, мерцая, истекал синевой, которая равномерно и медленно колебалась. Эманация синевы была настолько сильной, что дворик стоял в ней, как в воде.

Я нисколько не удивился, что затрапезный туалет внутри был достаточно чистым и удобным. Я вообще уже привык, что там, где Розочка, всё не так уж плохо. Единственное, что подействовало удручающе, — использованные разовые шприцы, повсюду разбросанные: и под ногами, и в ведре, и даже в ящичке для бумаги. Меня даже стошнило от них.

Наша медицина пошла по неправильному пути. Пилы, скальпели, молотки, сверла, ножницы, щипцы, шприцы, дозаторы, амортизаторы и так далее, и так далее (я уже не говорю о специальных столах и креслах) — все эти предметы как-то не вяжутся с понятием врачевания. Все они, может быть, и уместны в застенках нелюдей, но уж никак не в операционных. Наши хирурги (я, конечно, перед ними снимаю шляпу, которой у меня нет) не виноваты — таков уровень медицины. Но всё же они больше походят на мясников, чем на врачевателей. Однако мясники имеют дело мы знаем с чем, а хирурги — с живым человеком, сотворённым по Божьему подобию.

В будущем медицина будет иной, она пойдёт путём Иисуса Христа. Никаких тебе скальпелей — ничего... Войдёт врач в операционную и прежде всяких операций с душой больного встретится, если узнают они друг друга, почувствуют взаимную боль, стало быть, врачевание уже началось, стало быть, началось взаимопроникновение... Потому что альфа и омега здоровья человека не в теле — в душе. Есть душа — есть человек, нет души — нет человека.

А на улице было так хорошо, так здорово: воздух чистый, свежий; солнце яркое, греющее; небо синее, бездонное; а жизнь моя одна-единственная, которую я хотел бы прожить вместе с Розочкой, только с нею. Сейчас пошли бы в какое-нибудь кафе, посидели, поели пирожных. Или в какой-нибудь зверинец пошли — я люблю смотреть на животных, когда они ещё беспечально-маленькие, игривые. А нет, так погуляли бы по Москве: в городской парк зашли бы на какие-нибудь аттракционы или в кино, да мало ли?!

Нет, невозможно все это. Рядом, а несбыточно, подумал я вдруг с такой неизбывной горечью, что чёрная дощечка над дверью с рисунком черепа привела в бешенство.

Я сорвал её, несколько раз ударил о косяк, а потом пошёл и приколол к туалету тем самым гвоздём, на котором она висела. Удивительное сооружение, дощечка вписалась в него так гармонично, словно всегда там и была. Все эти разбитые подносы, шахматные доски, обломки шифера есть не что иное, как лепты (и «моя» чёрная дощечка тоже); лепты бессильного гнева. Я ухмыльнулся (внёс свою лепту) и даже повеселел немного. Что ни говорите, а если человек знает, что он не один неудачник, а один из многих, кому не повезло, то ему как-то уютнее на душе. Почему? Весьма и весьма любопытный вопрос!

Я вернулся в апартаменты. Стараясь сохранить в себе уличную свежесть, по пояс умылся, попил воды из-под крана (такой родниково холодной никогда не было в нашем общежитии) и вновь, надев крылатку, уселся у окна.

Мне была видна подтаивающая тропинка, бегущая к арке, и бóльшая часть арки. И ещё вполне очистившийся от снега тротуар, идущий параллельно тропинке на некотором расстоянии от неё, а потом резко отходящий влево к следующему выходу на соседнюю улицу. В пределах видимости из окна тротуар был достаточно людным, и порой казалось, что прохожие спешат не на соседнюю улицу, а на какое-то собрание за нашим домом.

Итак, почему человеку уютнее на душе, если он знает, что многим не повезло и он всего лишь один из многих?

Я решил докопаться до истины и, по-моему, более, чем кто-либо, смел надеяться на успех. В самом деле, всю ночь трястись в поезде для того, чтобы в конце концов оказаться у этого крестовидного окна, без штанов, притом в полнейшем неведении, где та, к которой приехал, и где находишься ты, который приехал?! Согласитесь, в моём положении есть нечто такое, что выделяет меня среди себе подобных. И выделяет настолько, что в этом отношении уже можно говорить обо мне как о выдающемся человеке. И как всякому выдающемуся, мне тоже, разумеется, есть что сказать себе подобным.

И тут я представил, что прохожие, спешащие на соседнюю улицу, действительно собираются за нашим домом на собрание, на котором гвоздь программы — мое поучительное выступление.

Вначале я появляюсь в толпе инкогнито, присматриваюсь — народ в основном большеротый, неуравновешенный, так сказать, «фронтовики», причём многие моего возраста. Меня охватывает сомнение, возможно ли, чтобы я был среди них самым выдающимся и пользовался неоспоримым авторитетом?!

Вдруг почувствовал, что не дорожу своей выдающностью и готов, при случае, уступить её любому... На какое-то мгновение даже представилось, как я уже передаю свои лавры — слегка лысоватый, но по-настоящему большеротый цезарион наклоняет голову, и я, сняв свой лавровый венок, медленно и торжественно возлагаю его... И как только... так сразу ныряю в толпу и, живо работая руками и ногами, стараюсь отдалиться от нового цезариона, насколько возможно. Теперь это уже больше похоже на игру в пятнашки. Однако... Я уже вновь инкогнито. То там, то сям прислушиваюсь к разговорам публики.

— Ушла жена?.. Тут у всех ушла жена. Подумаешь, несчастный! А, она увезла с собою всю мебель, включая холодильник и телевизор?

Несчастному нечего сказать, потому что не такой уж он несчастный. Зато выныривает другой, ещё более небритый и нечёсаный.

— Моя паскуда (он грязно ругается) увезла с собою всю мебель, включая холодильник и телевизор.

Нечёсаный стоит подбоченясь, расставив ноги и выпятив живот. Одежда на нем какая-то пожёванно-лохматая, а лицо лохмато-пожёванное. Мне кажется, что этот горемыка непобедим.

Но толпа отнюдь не спешила отдавать ему пальму первенства.

— Подумаешь, горемыка, — всё у него увезли! А после того, как увезли, он собственноручно дал своей жене кругленькую сумму на первоочередное оформление дел, связанных с учёбой или трудоустройством на новом месте?..

Горемыку оттеснили. Появился субъект уже совершенно лохматый, с маленькими и необоснованно колючими глазками.

— Я, я такой! — теряя равновесие, изрёк он (его встряхнули, помогли устоять на ногах, но от этого субъект как будто ещё больше взлохматился). — Я не да-авал, но она сама взя-ала кругленькую суумму, — валясь набок, пролепетал он заплетающимся языком.

Кудлато-заросший, он наводил ужас и вызывал отвращение. «По-моему, этот спившийся и опустившийся тип уже не может подлежать никакой «реставрации», а потому он вполне более выдающийся,

чем я», — неожиданно мелькнула мысль, что где-то там, в моих фантазиях, крутнется нужное колёсико и надежда исполнится.

Увы, толпа и на этот раз не подумала уступать.

— Эка невидаль!.. А после кругленькой суммы... доводилось ли тебе ездить в гости к своей жене? И если доводилось, оставался ли в одних кальсонах? Причём в чужом городе, в неизвестной, чужой квартире?!

Я бежал, незаметно, но всё же... Потом опять уселся у окна с крестовидной рамой, чтобы уже окончательно подготовиться к своему поучительному выступлению.

И вот я стою на возвышении дворовой площадки, передо мною лица — лица! Мне как будто уже доводилось их видеть: мужские страждущие лица.

— Дорогие сограждане! Ото всех ли от вас ушла жена? Отвечайте: да — нет.

— Да-а! — выдохнуло многоголосое общество, да так дружно, что площадка задрожала, словно рядом проехал танк.

Многие в обществе, козыряя своей осведомлённостью, что я — это тот самый выдающийся молодой человек, в качестве доказательства стали показывать пальцами на мои финские кальсоны, отчётливо выглядывающие из-под короткой Розочкиной накидки. Я почувствовал уверенность в себе и окрылённость.

— Дорогие соотечественники! Приходилось ли вам задумываться, почему на душе уютнее, когда знаешь, что от многих жена ушла и ты всего лишь один из многих?

Посыпались пословицы, как бы отвечающие на вопрос:

— «На миру и смерть красна!»

— «За компанию и жид удавился!»...

— Всё это так, но не совсем, — перебил я. — Посмотрите, сколь много нас, от которых жена ушла! А если бы мы собрались все, со всех городов и весей России, — нам не хватило бы места здесь, разве что на Красной площади! А если бы сюда ещё и бывшие жёны пришли, то и площади не хватило бы! Получилась бы грандиозная манифестация...

Только на долю секунды я позволил себе развлечься и сразу же увидел ровные шеренги жён, которые ушли от своих мужей как от несознательных элементов. Я увидел их в футболках физкультурниц пятидесятых годов, с гордо поднятыми бюстами легкоатлеток, твёрдо марширующих возле Мавзолея.

Мне захотелось, чтобы и их мужья были спортсменами из общества «Трудовые резервы», которые в чёткости маршировки и исполнения монументальных живых фигур нисколько бы не уступали, а даже превосходили бы своих жён. Увы, никакой чёткости я не сумел добиться у этих тюх-матюх даже своим, казалось бы изощренным, воображением.

И сразу — необъятные поля России, снежная круговерть и толпы, толпы каких-то деклассированных элементов, то есть оставленных женами мужей, которые плетутся в онучах неведомо куда и своей полной деморализацией и лохмотьями напоминают разгромленных фашистских захватчиков, откликающихся на всякую подачку хлеба восторженным: «Гитлер — капут!.. Капут!.. Капут!..»

«При чём тут капут?!» — досадую я на своё неудавшееся развлечение и в мгновение ока уже вновь стою на возвышении дворовой площадки и, словно бы и не прерывался, продолжаю поучительную речь:

— Нет-нет, не по схемам названных пословиц мы вдруг чувствуем душевный уют (смерть есть смерть, хоть на миру, хоть за компанию), а потому, что на уровне подкорки осознаем: раз ты один из многих, то уже не может быть и речи о твоём невезении (неудачники единичны), скорее здесь надо вести речь о твоей избранности. Да-да, избранности. А избранные — это лучшие, а у лучших только одно должно быть на уме: как облегчить жизнь ближнему, да и дальнему? Вот ушла жена, ну ушла, что теперь?.. Биться головой о стену?! Рвать на груди рубашку и, рыдая, кататься по полу?! Или, пуще того, впасть в озлобление и месть?! И ни то, и ни другое. Осознавая свою избранность, ты должен, в конце концов, почувствовать тихую радость от того, что она ушла. То есть от того, что теперь, когда ты не обременяешь её своим присутствием, ей много легче, а стало быть, ты добился-таки своего и облегчил ей жизнь. Более того, отныне это твоя святая обязанность — во всем споспешествовать ей и на первый же её зов неизменно являться с помощью...

Я осёкся. Осёкся не потому, что иссяк и мне больше нечего было сказать. А потому, что толпа, внимающая мне, неожиданно для меня (я не уловил той роковой минуты) превратилась в одно-единое существо, нечёсаное и угрюмое и какое-то уж очень первобытно-дремучее. Именно из-за его дремучести и осёкся. Да-да, я вдруг почувствовал, что толпа не понимает меня, что я для неё варвар и, как с варваром, она сейчас разделается со мной — ждёт лишь удобного момента...

Глава 35

И снова я у сторожевого окна. На этот раз почувствовал нестерпимый голод, наверное, я понервничал, произнося свою речь?! А день ушёл. Во всяком случае, в нашем дворе уже ощущались сумерки — кое-где в окнах зажглись огни.

Я посмотрел на арку и на основательно подтаявшую тропку, точнее, подтаявший грязно-пятнистый снег, который казался взрыхлённым. И сейчас же вспомнился люмпен-интеллигент, его волосатые,

словно покрытые мехом, руки и железный, сотрясающий купе стук. Ещё, кажется, не пережил ужаса, который повторился в памяти, а новый стук, тихий и робкий, буквально сбросил меня со стула.

— Роза, Розочка!

— Нет, это не Розочка и даже не Лилия, это собственной персоной Катрин! — отрапортовала соседка (я узнал её по голосу, в котором, несмотря на весёлую приподнятость, ощущалась готовность к агрессии, так хорошо запомнившаяся утром). — Юра, Юрок, заходи, — слегка растягивая слова, позвала Катрин и, включив свет, выглянула в сени.

Я ещё толком не рассмотрел эту самую Катрин в черной замшевой куртке и мужском чёрном берете с красным треугольником у виска (по-моему, берет морского пехотинца), а в прихожую уже вошёл молодой человек моего роста, но по возрасту, пожалуй, помладше — кучерявый, розовощёкий (ну прямо кровь с молоком!), голубоглазый брюнет. Даже и гадать не надо было — спортсмен, какой-нибудь самбист или каратист. Единственный недостаток — нос, в переносице толстый, напоминающий сосиску. А так — парень хоть куда! Только взглянул — сразу понял, что он и есть тот самый хитренький крысавчик.

Неудобно, конечно, подозревать, но одежда на нем задела за живое, мне даже в какой-то момент нехорошо стало. Тёмно-коричневая турецкая кожанка — точь-в-точь как у меня. Джинсы — тёмно-синие, новые, в общем, и здесь попадание в яблочко... На кожанке «молния» расстегнута до пупка — видно, что она маленько тесновата в плечах. Ещё бы — бугры мышц, словно отдельно живые, подрагивая, катаются под тельняшкой.

Может, я и не прав, но мне расхотелось смотреть на него.

— Юрок, знакомься, Розочкин муж! — сказала Катрин в своей манере, растягивая слова, и вдруг ни с того ни с сего захохотала, запрокинув голову.

Её хохот (диковатый и необъяснимый) привёл меня в замешательство. Юрок подмигнул мне и, пожимая руку, шепнул (в нос ударило тяжёлым винным перегаром):

— Травки накурилась, а твоей бабы не видел, не знаю твоей вообще!

Ложь! Наглая, беспардонная!.. Я по глазам заметил — зрачки задергались, словно он отсчитывал что-то невидимое. Я отвернулся.

— Чего шепчетесь? — рассердилась Катрин.

Я глянул и обомлел. И вовсе не оттого, что она была большеротой и некрасивой (вот уж в ком легче простого узнавалась «фронтовичка», тем более в берете морского пехотинца). Нет-нет, не берет и не стареющая на корню молодость поразили воображение — меня поразил английский красный шарф, который я увидел на шее Катрин.

— Чего уставился, чего выпятил свои зенки?! — возмутилась Катрин, запихивая под куртку слишком уж наглядно выбившийся наружу шарф из королевского мохера.

— Да так, ничего... Просто он тебе очень идёт, этот английский шарф. Наверное, пришлось за него хорошо заплатить?! — сказал безо всякого умысла — и не думал ехидничать, тем более намекать на толстые обстоятельства.

Катрин рассвирепела, едва не бросилась на меня:

— А ты кто такой?! Почему ты здесь?! Кто тебе дал право сидеть в моей квартире?!

Когда я сказал, что жду жену, что она ушла в моей одежде и у меня нет никакой возможности покинуть квартиру, пока она не вернётся, Юрок, потоптавшись у двери, тихо вышел на улицу. А Катрин закатила настоящую истерику, стала бегать по комнатам, зачем-то заглядывать под кровати, стащила с нашей постели простыни и наволочку. И всякий раз, пробегая мимо меня, кричала, что Розочка уехала домой, в Крым. Но пусть она не думает, такая-сякая, что на неё управы нет, что чужими вещами она откупится. У матери Катрин остался её паспорт, и они через милицию ещё устроят ей привод!

Слово «привод» добило меня, я впал в прострацию. Во всяком случае, перестал слышать беготню и крики. Я стоял и смотрел в окно, как с каждой секундой всё больше и больше смеркалось и всё больше и больше зажигалось окон в огромном доме напротив.

Пришёл в себя, когда меня толкнули в плечо:

— Где Юрок?

Не дожидаясь ответа, Катрин выбежала на улицу вместе с простынями.

Продолжая смотреть на залитые светом окна, я теперь не видел их. Я прокручивал в сознании услышанное, а точнее, оно само прокручивалось, и пришел к выводу, что в эту квартиру Розочка не вернётся. Она наверняка уехала, и причиною — я, моя одежда, которую она, очевидно, вынуждена была обменять на свою, отданную под залог ростовщице, матери Катрин. Ведь не случайно же Розочка встречала меня в халате на голое тело?! Да-да, такое не бывает случайным. Я представил весь ужас положения, в которое она попала, и мне стало больно за неё (когда по-настоящему бедствуешь, на всё пойдёшь). А потом, стесняясь встречи со мной, точнее, объяснений, которые и объяснять-то неловко, она взяла и уехала. Уж кто-кто, а Розочка знала, что её Митя не промах, что её Митенька что-нибудь придумает и не в пример ей выпутается. Какая всё же она молодец! Моё сердце пролилось теплом благодарности к Розочке. Разрубила гордиев узел и — до свидания!.. Это просто счастье, что я приехал в Москву в новой одежде и Розочка смогла беспрепятственно выменять на неё свою.

Я услышал шум в сенях и говор. Вернулись Юрок и Катрин со стопочкой чистого постельного белья. Не обращая на меня внимания, прошли в комнату. Потом, уже без белья, вернулась Катрин, подошла к окну и бросила какую-то книжицу на подоконник.

— Маман сказала, что Розочка просила отдать тебе.

Книжица оказалась паспортом, я открыл его — Слёзкина Роза Федоровна. Стараясь не выдавать своих чувств, спросил:

— Она оплатила все свои долги?

— Всё, — ответила Катрин. — Тебя облапошила и оплатила.

Мы многозначительно посмотрели друг на друга.

— Она уехала в Крым — куда именно?

Катрин, слегка приподняв брови, усмехнулась, и я в ответ, наверное, ухмыльнулся. Во всяком случае, выдержал её взгляд.

— В Черноморск, — сказала Катрин и пояснила: — В семидесяти километрах от Евпатории, только севернее.

Пряча в карман сорочки Розочкин паспорт, я нарочно порассуждал вслух о Черноморске, мол, никогда не думал, что такой город в действительности существует. Дескать, всегда считал его не более чем плодом воображения Ильфа и Петрова, и вот на́ тебе...

Не знаю, какое впечатление произвели мои рассуждения на Катрин, но она вдруг предложила остаться переночевать.

— А что, уже пора идти? — сказал я и, натянув Розочкину кепку и поправив на плечах её накидку, направился к двери.

Внезапно Катрин преградила дорогу:

— Ты что?.. В самом деле её так... любишь?! И никаких объяснений, и никакой злости?!

В ответ я ничего не сказал. Честно говоря, я даже не понял, о чём она. Мне показалось, что она опять на грани истерики.

Я молча вышел и осторожно затворил рычащую дверь. Потом так же осторожно, чтобы не запутаться в проводах, прошел через сени и вышел на улицу.

Во дворике было достаточно светло, я направился к арке и, пока шёл по тропке, чувствовал, что из окна на меня смотрит Катрин. Смотрит недобро, но её тяжелый взгляд не мешал мне, а, наоборот, веселил и придавал лёгкость шагу. Я был уверен, что Катрин завидовала мне в чём-то для неё очень важном, настолько важном, что она хотела бы оказаться на моем месте.

За аркой я немного постоял, обдумывая, куда идти, и решил, что надо ехать на железнодорожный вокзал, возвращаться домой. Розочкин муж должен быть материально обеспеченным прежде всего для того, чтобы она могла отдохнуть возле него от своей ужасающей нищеты.

Глава 36

Домой я приехал в шесть часов утра. Ехал в плацкартном на второй полке. Пассажиров было — под завязку! Некоторым даже одеял не хватило. Я, например, своё отдал бабке с нижней полки, которая по причине больных ног всё откладывала сходить к проводнику, а когда сходила, одеял уже не было.

Бабка ездила к сыну. Он окончил при Московском экспериментальном ювелирном заводе ремесленное училище (стал классным гранильщиком алмазов), а его жена учится в медтехникуме (этот факт меня тронул до глубины души). И вот, поженившись, они мыкаются, потому что его не пускают к ней в общежитие (женское), а её — к нему (его общежитие на территории завода, и все они, гранильщики, живут в нём под охраной, как в тюрьме).

Меня до того расстроил рассказ, что уже ночью, отдыхая под крылаткой, я несколько раз просыпался весь в слезах. Мне снились какие-то вооружённые люди кавказской национальности, которые, стоя у железных ворот, никак не пускали меня к Розочке, а её — ко мне.

— Ро-озочка! — со всхлипом кричал я.

— Ми-ителька! — не менее горестно отзывалась она.

И я в слезах просыпался.

Если бы не одно маленькое происшествие, никто никогда бы не догадался, что я ехал в одних кальсонах — без штанов. Подвёл меня проводник, его близорукость и ещё наше ужасное время, рождающее преступные фантазии.

Когда мы уже приехали и я нес огромную бабкину сумку матрасного цвета (помогал ей выйти из вагона), на меня в тамбуре неожиданно напал проводник.

— Ах ты, хамье, вор! — заорал он и начал сдирать с меня крылатку.

Он решил, что я в одеяле из подотчётного ему имущества. Пришлось сказать, что это не я... а у меня штаны украли. И не только сказать, но и продемонстрировать их убедительное отсутствие.

В общежитии никто не среагировал на мою одежду, то есть никто не вспомнил, что я уезжал в меховой кепке, кожанке и так далее.

— А, это ты? — сказала Алина Спиридоновна спросонок и спокойно возвратилась на свой диван.

В моём наряде она не нашла ничего необычного. Как, впрочем, и жильцы нашего этажа. Когда я вышел на кухню (правда, вышел в старых суконных брюках, а на плечи накинул не Розочкину, а свою крылатку), никто и словом не обмолвился не только о моём одеянии, но даже и о поездке в Москву.

— Пожалуйста, возьми, — сказали мне на кухне и преподнесли целый кулёк пирожков с творогом. — Сегодня Родительская суббота.

Но самое поразительное, что и Двуносый никак не среагировал, что я в прежней одежде, а ведь новую приобретали вместе.

— Митя, молодец, что приехал! — сказал он обрадованно и вынес мою папку со стихами. — Сегодня санитарный день, времени с головкой, чтобы согласовать взаимовыгодный договор.

Он предложил совместный бизнес: с каждого проданного стихотворения ему на карман пятнадцать процентов от вырученной суммы. За что он обязуется:

1. Предоставить автору десятипроцентную ссуду в размере семисот долларов США сроком на весь текущий, тысяча девятьсот девяносто второй год.

2. Обеспечить автора соответствующей клиентурой и во время сделки — столом за счет пивного бара.

3. Никогда не разглашать коммерческую тайну, связанную с данным договором.

Мне понравились условия... особенно ссуда, которая развязывала мне руки. Я сразу решил, что, подписав договор (Двуносый попросил составить его в двух экземплярах), немедленно отправлюсь на базар и на оставшиеся двести долларов приоденусь — дело было на следующий день по приезде из Москвы, в воскресенье, и я рассчитывал, что найду Визиря и куплю у него такие же, как и раньше, вещи. Да-да, в воскресенье я почему-то всегда рассчитывал на везение.

Однако Двуносый не отпустил меня. Спрятав договор, сказал, чтобы я немного разобрался со стихами, а он сбегает в казино и, если всё будет нормально, вернётся с покупателем.

Я посмотрел на рукопись, она была в порядке: стихи подобраны по темам, переложены закладками, единственное — я не знал, как определяться в цене. В самом деле, если стихи — товар, то должно быть какое-то объяснение, почему одно стихотворение оценивается в одну сумму, а другое — в другую. Я с горечью подумал: как жаль, что нет Розочки, она непременно надоумила бы, что делать... И в ту же секунду услышал (мысленно, конечно) её ласково-снисходительный, несколько насмешливый голос — разумеется, не метражом оцениваются. Стихи — не жилплощадь. И не расстоянием от точки А, как по счётчику такси. Стихи следует оценивать наличием в них таланта, а он, талант, есть тайна, и тайна великая!

Её лексикон озадачил лишь тем, что так выразиться мог только я сам, но именно моим лексиконом Розочка пренебрегала.

Я растерялся, мы с нею поменялись местами, она заняла мою сторону: настоящие стихи бесценны. А я — её: любое стихотворение можно исчислить в деньгах. Да-да, именно я пытался положить стихи в прокрустово ложе какого-то всё объясняющего прейскуранта. Это было отвратительно, я уже хотел отказаться продавать стихи. И тут вспомнилось Розочкино обещание вернуться ко мне, если я стану пусть не богатым, но достаточно благосостоятельным.

«Я хочу, Митя, чтобы ты объединял в себе и поэта, и рыцаря, и ещё... Да-да — спонсора-золотодобытчика! Лучше умереть с кожаным поясом с золотом, чем без портков под забором».

Вот это вот «без портков» буквально сразило меня. Под сердцем так заныло, так заболело, но я решил не сдаваться. Рассеянно глянул в окошко — в просвете деревьев спешил Двуносый. За ним в многоцветных спортивных куртках шли несколько человек, которые с каждым шагом Двуносого всё более и более отставали...

— Ну, Митя, сам Толя Крез идет со своими приспешниками! — запыхавшись, сказал Двуносый и похлопал меня по плечу. — Смотри, не ударь в грязь лицом!.. О тебе по базару легенды распространяются, оказывается, ты — поэт всех угнетенных челночников и киоскеров, и даже больше...

— А что, разве они угнетены кем-нибудь? — искренне удивился я.

— Ещё как угнетены! — отозвался Двуносый. — Вот такие, как Толя Крез, и есть наши первые угнетатели, — шёпотом закончил он и, устраивая столик возле единственного окошка, попросил меня и Тутатхамона выйти на улицу встретить гостей.

Мы вышли. Я положил папку со стихами в капюшон, чтобы она не мешала мне прятать руки под крылаткой, но из-за того, что подушка скомкалась, сбилась в комок, папка встала торчмя назад, и я никак не мог поправить её, то есть утопить в капюшоне, чтобы она не выпала. Своей неуклюжестью я напоминал жука, лежащего на спине, который шевелит лапками, дёргается, а ухватиться за что-нибудь спасительное не может. Вот так и я со своей папкой...

— Это что за чесоточник? — гнусаво спросил Толя Крез у Тутатхамона, по-лакейски услужливо приглашавшего всех пройти в пивной бар.

— А-а, это — этот, — ответил Тутатхамон и, открыв дверь, загородил меня, пропуская гостей внутрь центрального, директорского киоска.

Они прошли мимо, не замедляя шага. Первым — Крез, в красно-чёрной куртке на «молниях» и липучках, с посеребрёнными, точно дорожные знаки, полосками на рукавах. А следом — два сообщника в таких же фасонистых куртках, только зелёно-фиолетовых. Разумеется, Толю Креза я сразу угадал. И не столько по положению главаря (первый), сколько по чёрной тряпочке на лице, закрывающей размазанный нос.

Гнусавость голоса, отчётливое отсутствие носа под повязкой вызвали до того неприятные ассоциации, что я вынужден был отбежать за угол.

Приношу самые искренние извинения, но у меня с детства аллергия на всякие физические уродства. Видит бог, это выше моих сил. Причём реакция непредсказуема, иногда в одной и той же ситуации плыву, а иногда — камнем на дно. Из-за этого в начальной школе меня даже били, принимая за симулянта. Виною всему неожиданность, то есть если я успевал настроиться — никакой аллергии, а уж если нет, то наказывать было бесполезно.

За мной прибежал Тутатхамон, буквально затащил в киоск. И кстати, благодаря ему я без всяких усилий пересилил аллергию. А всё потому, что настроился: будто я — не я, а «...это — этот», «чесоточник». А тут ещё, когда вошли, Толя Крез подозвал меня. То есть не подозвал, а, увидев, вслух удивился:

— А-а, это — этот?!

При моём настрое его удивление прозвучало как оклик по имени. Я подошёл к столику. Двуносый засуетился, пригласил сесть, познакомиться с Толей Крезом. Но я не сел. Вначале почесал себе шею (почесал в удовольствие, блаженно высунув язык), а потом руку, внутреннюю сторону — от запястья до локтя (сладостно длинным расчесыванием до крови).

— А-а, обиделся, — ухмыльнулся Толя Крез.

Глаза его, чёрные, блестящие, вдруг потускнели, словно бы от какого-то внутреннего сопереживания.

— Бывает, бывает, по себе знаю, — сказал он раздумчиво и на какое-то время как будто позабыл и обо мне, и о Двуносом, пристально посмотрел в окошко.

Между прочим, сразу, как только увидел Толю Креза, у меня мелькнула мысль: почему чёрная тряпочка, закрывающая нос, точнее, его отсутствие, не сползает ему на рот? Теперь ответ был ясен: две тесёмки он завязывал на затылке поверх ушей, а две другие — снизу, почти на шее. Однако главным ограничителем была верхняя губа, которая своим выворотом так высоко приподнималась в изгибе, что не только задерживала повязку, но и придавала лицу какую-то опущенную курносость. К тому же она как бы перекликалась с чубом-площадкой, нависшим таким же изгибом над покатым лбом, веснушки которого, кстати, продолжались и на медно-красных волосах.

— Ну что... насмотрелся, поэт? Или ты — чесоточник? — спросил Толя Крез, и глаза его как-то так проникающе заблестели, что я немного оробел — почувствовал злой и острый ум, который уже потому беспощаден, что и себя не жалеет.

— Нет, я не чесоточник, я — поэт, — сказал я и уже решил сесть на табуретку, предложенную Двуносым, но Толя Крез опередил, встал, уступил свою.

Вытащив из капюшона папку и положив её на стол, он сказал, что у него появились сомнения, что я — поэт. И он устроит мне в некотором роде поэтическое состязание в Блуа.

— Я всеми принят, изгнан отовсюду! — гнусаво, по голосу (скажем так) и приподнято, по настроению, продекламировал он строку Франсуа Вийона как раз из «Баллады поэтического состязания в Блуа».

Его эрудиция (по существу, объяснимая — поэт Вийон был не в ладах с законом) поразила и насторожила — смотри, какие проходимцы пошли... оберут тебя и тебя же извиняться заставят!.. Я ответил ему тоже Вийоном, восьмистишием из «Баллады истин наизнанку»:

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,
Смеёмся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюблённый мыслит здраво.

Двуносый, все это время с живым интересом поглядывавший то на меня, то на Толю Креза, после чтения восьмистишия вдруг как-то сразу очень сильно заскучал и, неизвестно чем озаботясь, смотрелся совершенно отсутствующим.

— Браво! — хлопая в ладоши, льстиво сказал Толя и засмеялся, обнажив из-под тряпочки устрашающее количество золотых зубов.

Не буду скрывать, нутром я вздрогнул. Чего стоит одна только прогнусавленная лесть?! А тут ещё — огненная медь волос и огненные слитки золотых зубов, увы, не под чёрной пастью сифилитика, нет — под «чёрным квадратом» бездны.

В общем, меня не спасла моя эрудированность, напротив, она усугубила мое положение. Толя Крез сказал, что чья-то (да-да — чья-то) начитанная память вызывает у него уже не сомнения, а законные подозрения, да-да, что я не тот, за кого себя выдаю. И вполне возможно, я уже давно торгую чужими «нетленками», а потому должен в течение получаса написать стихотворение на заданную тему, чтобы развеять его естественные подозрения. Он тут же дал тему: обращение одного поэта к другому, монолог, который надо начинать со строки:

Эй ты, поэт, невольник чести...

Я посмотрел на Двуносого, он пребывал всё в том же отсутствующем состоянии, но теперь с отвисшей челюстью и отвлечённой улыбкой. Он словно бы застыл в созерцании чего-то необыкновенного, поражающего воображение. «Наверное, он ошарашен процентами от сделки, в которую втравил нас обоих», — подумал я со злым ехидством, и мне захотелось сказать ему: «Что, Феофилактович, яйца ишо

не отморозил?!» Но вместо этого я сел на табуретку, которую только что занимал Толя Крез, и, достав карандаш (ручки у меня не было), прямо на папке записал первую строку обращения одного поэта к другому. Конечно, я сразу понял, почему Толя уступил своё место. Сидя лицом к стойке бара, у которой приспешники попивали пиво, я находился под их наблюдением. А сам Толя постучал по часам (засёк время) и, увлекая за руку ничего не понимающего Двуносого, вышел с ним на улицу. Они один за другим очень быстро прошли мимо окошка. Куда они, почему они, что они?.. — меня это не интересовало. Как не интересовали приспешники и Тутатхамон, всё это время находившиеся в тени, а теперь громогласно обсуждающие, кто я, что я и зачем. Для меня было главным — поэт я или чесоточник? Я и думать не думал о торговле стихами. Но не зря тот день (пятое апреля) был воскресеньем, а в воскресенье я почему-то всегда бываю в выигрыше.

Тридцать минут пролетели мгновенно. Я это понял по возвращающимся шагам за окошком: бегущим — Двуносого и размеренно-широким — Толи Креза. Конечно, было обидно, только что настроился на настоящее, серьезное стихотворение — увы, время истекло. Не знаю, что бы я делал, если бы не учился в Литинституте. Будучи студентом, я прошёл столько «состязаний в Блуа», что в некотором роде овладел выигрышной техникой подобных состязаний.

Первое, с чего в них следовало начинать, — с задела. То есть в первые же пять минут следовало полностью выполнить заказ — сочинить необходимый опус, нисколько не заботясь о его качестве. И только потом, когда есть задел, можно попытаться сочинять что-то другое, по-настоящему серьезное.

У меня «потом» не было — тридцать минут пролетели мгновенно. Как говорится, только-только настроился — шаги... Вначале Двуносый заскочил в киоск, а следом и Толя Крез.

— Всё-всё, время вышло! — красноречиво постучал пальцем по часам. — Ну как?! — Это уже к своим приспешникам.

Судя по их замешательству, время, отпущенное на стихотворение, не вышло, но я не стал уточнять... Зная, что в подобных ситуациях более самих стихов ценятся уверенность в себе, умение преподнести любой текст как факт божественного откровения, я несколько раз про себя прочёл свой опус и сейчас же принял позу пророка, исключающего все мирское и преходящее. Я предчувствовал, что моя поза будет воспринята окружающими как хитрость утопающего. Тем более что и ответы приспешников настраивали на это. Один из них прямо сказал: «Если этот Митя — поэт, то я — Папа Римский».

Двуносый опять меня удивил. Оценив обстановку, он, очевидно, решил незаметно ретироваться. Для отвода глаз достал блокнот, начальнически что-то спросил у Тутатхамона, стоящего за стойкой, и тут же, на ходу пряча блокнот, нацелился покинуть киоск. Однако Толя Крез не дал — пригласил к столику.

— Эй ты, поэт, невольник чести!

Даже теряюсь, как сказать: приподнято прогнусавил Толя или, гнусавя, продекламировал? В любом случае проскальзывает насмешка, которой не было. Поэтому опускаю его «гнусавость».

— Пора вставать — Нью-Васюки! — прокричал он своим особенным голосом и, тряхнув меня за плечо, спросил: — Ну как стишочек?

— При чём тут Нью-Васюки, просто немного задумался, — невольно страшась его эрудиции, соврал я и с облегчением перевёл разговор на стишочек, который уже давно написан и отпечатан в памяти. — Минуту внимания, — сказал я, вставая из-за стола. — Я привык читать стихи стоя, в том числе и свои.

— А я привык слушать — сидя, — самодовольно сказал Толя Крез, усаживаясь на мое, то есть на своё, место.

И сразу тишина как бы упала. Я немножко выждал и...

Эй ты, поэт, невольник чести,
ты в двадцать первый век идёшь
и, провалиться мне на месте, —
в суме ты рукопись несёшь!

Несёшь потомкам — в лихолетье
волочишь ноги еле-еле, —
чтоб в новеньком тысячелетье
твои нетленки прозвенели!

Эй ты, поэт, постой немного,
возьми и мой бесценный груз.
Пропой его в гостях у Бога,
как я пропел в гостях у муз!

Концовка стихотворения была совершенно никудышной. Получалось, что поэт, идущий в третье тысячелетие, по сути, идёт как бы на квартиру к Богу, причём как к коллеге, чтобы исполнить свои песни. Бог — коллега?! Больше не о чём говорить — приехали!

Закончив читать стихотворение, я медленно опустил руку, спрятал под крылаткой и чуть-чуть наклонил голову как бы в знак уважения ко всем слушателям. На самом деле мне было не до уважения, я ждал нападок со стороны Толи Креза. В свете его эрудированности мой опус не выдерживал никакой критики. И точно... Он попросил ещё раз прочесть концовку. Я прочёл — на грани обморока.

— А эти музы — они ведь женщины, — сказал Толя Крез с некой изобличительной интонацией.

Я согласился с ним, сказал, что к тому же они ещё и древнегреческие богини, покровительницы наук и искусств. Каждую из девяти богинь я назвал по имени, чем вызвал у всех молчаливое изумление.

— Хорошо, ещё раз — концовку, — приказал Толя Крез.

Я был почти уверен, что полностью он не позволит прочесть четверостишие, непременно остановит. И он остановил:

— Нет-нет, не «пропой», а «пропей его в гостях у Бога, Как я пропил в гостях у муз!».

Конечно, это было неожиданно, сообщники Толи пришли в восторг. Кстати, я тоже аплодировал, я радовался, что ошибся, — Толя Крез и не думал нападать на мое стихотворение. Оценивая Толину эрудицию и вообще его понимание поэзии, я слишком высоко ставил сети, а он прошёл под ними.

Когда первая волна восторгов улеглась, голос подал бывший сантехник, Тутатхамон:

— А рыжий-то, рыжий?! Дышит в тряпочку, а видал — голова! Золотая, башковитая, мыслительная — как у Ленина!

Откровенно говоря, заявление бывшего сантехника не содержало в себе ничего, кроме лести. Причём лести грубой, примитивной и однообразной, нечто подобное я уже слышал от него по адресу Двуносого. Тем не менее все, в том числе и Двуносый, весело смеясь, опять зааплодировали, дескать, ну и Тутатхамон-Тутатхамонище — скажет, как в лужу... А однако приятно, молодец Тутатхамон!

Я посмотрел на Толю Креза: чёрные глаза блестели, прямо полыхали электричеством. От природы красный, как медь, он буквально побурел от прилива чувственной крови. И задышал, задышал так сильно, что чёрная тряпочка на лице то надувалась, как парус, то опадала, прилепливалась к неровной вмятине носа, обнаруживала круглые ямочки ноздрей.

— Ну хватит, харэ! — прервал излияния восторгов Толя Крез и сказал, что пора делом заняться, ему нужны стихи о любви, он намерен опубликовать их под своим именем в какой-нибудь из новых местных газет для цензурного авторитета их фирмы.

Как только он сказал, что стихи должны быть о любви, его сообщники вместе с Тутатхамоном опустили головы, некоторое время избегая смотреть друг на друга, словно услышали от Толи Креза что-то совершенно уж неприличное. Двуносый, по обыкновению, неизвестно чем озаботился, стал недоступно-отвлечённым.

— Ты что это — заскучал? — как-то нехорошо удивился Толя и призвал Двуносого вести торг, уж коли сам напросился.

— А чего его вести?! — вступился я и объяснил, что для хорошей публикации нужна подборка, шесть-семь стихотворений, а в подборке стихи дороже, потому что в ней должен сохраняться свой, особый стиль автора, который по большому счёту нельзя купить ни за какие деньги.

Я подобрал семь стихотворений, можно сказать, лучших из тех, что посвящал Розочке. Кроме того, «Обращение поэта к поэту» положил сверху как бесплатное приложение.

— Во как?! — удивился Толя. — И на сколько же баксов всё это потянет?

— Ерунда, — сказал я. — Всего на тысячу.

И вновь, с внезапно отвисшей челюстью, Алексей Феофилактович заскучал, а любители пива у стойки враз поперхнулись, словно хватили неразведённого спирта.

Конечно, я загнул. Дело в том, что я подобрал свои лучшие стихи о любви, которые все до одного были посвящены Розочке. И вот когда я их уже отобрал и положил сверху так называемый бесплатный подарок — приложение, мне вдруг стало жалко продавать свои стихи, ведь в каждом из них была частичка моей искренней любви к Розочке.

Толя Крез очень внимательно посмотрел на меня своими чёрными блестящими глазами и неожиданно задумался, не хуже Двуносого впал в отсутствие.

Я закрыл папку и, глядя в окошко, стал завязывать тесёмки.

— Погоди, не так скоро, — придержал меня очнувшийся Толя и спросил у Двуносого, а что он как посредник думает по этому поводу.

Что думал Двуносый, лично я так и не понял. Он очень длинно рассказывал, что я в прошлом руководитель областного литературного объединения; что у меня диплом «литературного работника», что я — автор поэтической рекламы, которая почти всю зиму украшала его киоски, и, наконец, что сам Филимон Пуплиевич купил у меня стихотворение за сто долларов.

— За сто? — коротко переспросил меня Толя Крез.

— Не совсем, — ответил я.

И объяснил, что в тот день я не продавал стихи. Просто маленько выпил и рассыпал рукопись со стихами, а ветром их подхватило и разметало. Лимоныч сам поднял стихотворение, прочел и заплатил за него пятьдесят долларов. Причём заплатил не мне, а Феофилактовичу. Потом стихотворение прочла спутница Лимоныча, красавица в кожаном пальто и бордовой чалме, сказал я и незнамо зачем уточнил, что на чалме у неё ещё горел снег, так пламенно вспыхивал, аж ослеплял, как бриллианты...

Здесь Толя Крез опять задышал, задышал так сильно, как астматик, — чёрная тряпочка то раздувалась, словно от внезапного гнева, то опадала, как бы истощившись.

Толя Крез молча пододвинул папку со стихами, взял восемь отобранных, положил перед собой. Так

же молчком достал лопатник, положил его на листы со стихами, раскрыл, вынул пачку зелёных, неторопливо отсчитал семьсот пятьдесят долларов, подал Двуносому.

Двуносый явно машинально пересчитал и так же машинально согласился, что отсчитано семьсот пятьдесят долларов.

— Тысяча, тысяча баксов! — поправил Двуносого Толя Крез.

Я усмехнулся. Тогда он сказал, что поэту негоже слишком сильно любить «зелёные».

— Я согласен взять стихи назад, — сказал я без тени сожаления.

Он это почувствовал и, вставая из-за стола, объяснил, что двести пятьдесят долларов он вычел в пользу компании, которая отныне берёт на себя обязательство защищать мои интересы перед всякими щипачами, то есть преступными элементами.

— Так, Фефелактыч? — спросил он Двуносого, протягивая руку для пожатия.

— Так-так, — с некоторой поспешностью ответил генеральный директор пивного бара и, чтобы уже совсем развеять всякие сомнения, добавил: — Без крыши — амба!

Толя Крез повернулся ко мне — есть претензии? Я ответил: никаких. А он свои снимет, когда опубликует подборку.

— Какую гарантию даёшь стихам — месяц, два, три?..

— Моя гарантия стихам — вечность, — сказал я с чувством оскорблённого достоинства, потому что действительно оскорбился.

Толя Крез удовлетворённо хмыкнул и, кивнув приспешникам, неторопливо направился к двери.

Когда за окошком растаяли их шаги, я предложил Двуносому все семьсот пятьдесят долларов оставить себе в счёт долга и процентов за посредничество. Разумеется, он обрадовался. Предложил отметить, послал Тутатхамона в ресторан казино за горячими блюдами. Я заказал зелёные щи с поджаренным луком, горячую баранину с петрушкой и кофе со сливками.

Пока ждали Тутатхамона, Алексей Феофилактович возбуждённо ходил взад-вперёд и, точно оракул, вещал, что я могу стать великим человеком, если займусь бизнесом. Потому что он заметил, и уже давно, что деньги пищат, но сами лезут в мой карман.

— Ты, Митя, грамотный. Ты можешь превзойти самого Филимона Пуплиевича, если чуть-чуть отойдёшь от стихов и приблизишься к деньгам. Ты, Митя, не думай, что большие деньги достаются бесчестным людям, — никогда! Или — как исключение!

Он приблизился и заговорил шёпотом, что ещё совсем недавно он сам так глупо думал, но это не так — деньги льнут к честным людям, и сие есть тайна великая. (Опять мой лексикон и опять не в том направлении.)

Я не разделял оптимистических прогнозов Двуносого. После «состязания в Блуа» я продал уже не стихи, а как бы себя самого — в стихах. Во всяком случае, я не испытывал радостного возбуждения Двуносого. Я испытывал ужасное чувство опустошенности и обманутости. Единственное, что утешало: будь Розочка рядом, она была бы довольна.

Зелёные щи, баранина и кофе, которые принёс Тутатхамон в специальных посудинах (то есть горячими, дымящимися), как-то очень сильно поразили меня своей обыденной настоящностью. Я даже незаметно для компаньонов, прежде ложки, опустил палец в щи. Впрочем, и щи, и баранина, и кофе — и тогда, и после — не произвели должного впечатления. В моих снах и галлюцинациях они были гораздо вкуснее, а главное — желаннее. И, увы, к этому нечего прибавить.

Глава 37

В своих прогнозах Двуносый не ошибся — я занялся бизнесом, и деньги, действительно как заговорённые, потекли в мои карманы.

Покупатели — вначале Лимоныч вместе с начальницей железнодорожных перевозок. Потом Толя Крез, оказывается, влюблённый в стюардессу, младшую сестру начальницы. И, наконец, Визирь, совладелец многих вещевых палаток на городских рынках, ухаживающий за старшей сестрой, тоже начальницей, но авиаперевозок, который после публикации якобы Толиных стихов «О любви» сам разыскал меня и заказал пьесу в двух действиях. Он требовал, чтобы в первом действии главный герой пьесы мюрид (чеченец по национальности — добрейший человек, кристально честный и весьма часто плачущий от всякого, даже своего, злого слова) влюбился бы в русскую блондинку Татьяну, надменную и жестокосердую, которая бы во втором действии перевоспиталась. То есть ответила бы доброму чеченцу взаимностью и, добровольно приняв ислам, уехала бы с ним из Москвы на житьё-бытьё в чеченские горы.

Когда я сказал, что не смогу написать подобную пьесу, потому что даже добрый мюрид никогда не влюбится в жестокосердую Татьяну, Визирь до того рассвирепел, что, я думал, зарежет меня.

— Ладно, постараюсь, но не обещаю, — сказал я, чтобы смягчить Визиря. — В конце концов, не всё покупается за деньги!

В ответ он наугад взял у меня четырнадцать стихотворений и, не торгуясь, бросил на мою широкую кровать три тысячи долларов. Сумма, конечно, большая, но к тому времени в моём утюге, точно в сейфе,

уже лежало свыше двадцати тысяч (среди денежных людей стало престижным похваляться моими стихами словно своими). Впрочем, наличие денег никаким образом не сказывалось на моей жизни. И тогда, чтобы как-то развлечь себя, я решил купить так называемый гоголевский костюм.

В воспоминаниях о Николае Васильевиче я читал, что в минуты особого восхищения собой (такие минуты бывают у каждого писателя, помните: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!») Николай Васильевич Гоголь любил одеваться в голубой костюм с искоркой.

Мне для этой цели понравился чёрный костюм с зеленоватым отливом — я купил его. Однако с тех пор, как я занялся продажей своих произведений, из-под моего пера выходила такая галиматья, что надевать костюм по его прямому назначению не представлялось никакой возможности. И тогда, чтобы не пропадать добру, я сам стал придумывать всякие поводы. Тем более костюм, белоснежная сорочка, зеленоватый галстук и чёрные туфли настолько сильно изменяли мой облик, что многие меня не узнавали. Я самому себе в общежитии казался каким-то инородным существом. А наши женщины на этаже даже умышленно избегали меня — чернушки стеснялись попадаться на глаза принцу.

И вот однажды (уж не знаю, по какому поводу) я решил пойти торговать стихами не в обычной своей крылатке, а в «гоголевском костюме». Только что я вошёл в центральный киоск (по уговору с Двуносым я приходил торговать раз в неделю, по пятницам, в десять часов утра), смотрю, а там уже сидят несколько покупателей, ждут... Покупателей очень богатых, настроенных не торговаться, а брать стихи с лёта, то есть, пока я декламирую стихотворение, они, как на аукционе, дают за него кто больше. Таким образом мне уже приходилось продавать, цена накручивалась на стихотворение бешеная, в пять — десять раз больше первоначальной, а я ведь тоже не стеснялся, ставил первоначальную цену по высшей категории, как за «нью-классик», словом, чувствовал себя «поэтом от Фаберже». Итак, увидев покупателей, покупателей весьма и весьма состоятельных, я обрадовался, уже и руки мысленно потёр в предвкушении солидной выручки. И что же?

Подвёл меня Двуносый к «толям», так мысленно называл я богатых криминальных типов.

— Знакомьтесь, Митя Слёзкин, выдающийся поэт современности! В детстве считался вундеркиндом, умножал быстрей калькулятора, — по обычной схеме представил меня Двуносый (на мой взгляд, ужасно глупой, но безошибочно действующей на покупателя в нужном ключе).

И тут произошло необычное: «толи» переглянулись и, вскочив со своих мест, стали душить нас, а в заключение, как бы на память, у каждого из нас оторвали воротники рубашек и вылили за шиворот по полной кружке пива. Двуносый, когда ему выливали, зачем-то хлопал себя по бедрам и подпрыгивал. А когда «толи» оставили нас на полу и не торопясь вышли на улицу, он бросился за ними. Что уж он говорил — не знаю, но вернулся расстроенным. Оказывается, в представлении «крезов» (тем более приезжих) мой словесный портрет выдающегося поэта современности не совпал с реальным. Двуносый Христом Богом просил, чтобы никогда больше я не приходил на торг стихами в чёрном костюме с зелёным отливом.

— Только в крылатке, только в крылатке! — заклинал он столь рьяно, что между нами даже возникла ссора.

— Зачем мне деньги? Зачем, если я живу как нищий, только что не под забором?!

Двуносый пообещал, что подыщет мне приватизированную квартиру. Дескать, действительно, пора мне жить по-человечески, но единственное условие — где бы я ни жил и как бы я ни жил, а на торги стихами должен приходить в крылатке. Его заинтересованность была понятна: пятнадцать процентов за посредничество иногда составляли довольно-таки кругленькую сумму. Если верить его словам, однажды оброненным, она равнялась двухнедельному доходу за пиво.

Впрочем, мои претензии («Зачем мне деньги?») были несостоятельны. Я отлично знал, что деньги нужны для Розочки. И вообще вся эта моя странная жизнь осуществлялась не более чем по её наказу.

На следующий день на встречу с «толями» я пришёл в крылатке. Разумеется, я знал — «Не искушай Господа Бога твоего». Но когда вошел и увидел, что криминальные элементы, точно участники Ялтинской конференции, встретили меня, как Верховного, аплодисментами, стоя, захотелось отомстить за вчерашнее, особенно «Уинстону Леонарду Спенсеру», который своим толстым задом порядком намял мои бока. Любому другому можно было бы и простить, но «Уинстону», лауреату Нобелевской премии по литературе, — никогда!.. Я доставал из папки самые неудачные стихи, но подавал их с таким апломбом, словно это были произведения светоча всего прогрессивного человечества. Я наворачивал на стихи такие сумасшедшие цены, что порою сам пугался. Однако всё прошло без сучка без задоринки: «Уинстон» тяжко крякал, но платил... и даже оставил на столе пять долларов чаевых.

В тот день Двуносый заработал пятьсот долларов, а я — около трех тысяч. Но я не понимал цены деньгам.

Однажды, отправляя деньги маме, заполнил извещение на пять тысяч рублей (тогда это составляло около ста долларов). Каково же было мое удивление, когда извещение не приняли, сославшись на запрет

правительства — нельзя посылать более пятисот рублей. Господи, неужели я такой благосостоятельный?! Знала бы об этом Розочка!.. Чтобы поблагодарить Всевышнего, зашёл в нашу действующую церковь апостола Филиппа и поставил перед всеми иконами самые дорогие, самые красивые свечи — с золотой спиралью. (Я не знал, что они венчальные, для меня было главным, что они — дорогие.)

Выйдя из церкви, подозвал нищих, чтобы подать милостыню. Один из самых убогих подгрёбся на каких-то палках вместо костылей — лицо женское, борода — три волосины, а глаза голубые, ясные, как у младенца. (Остальные Божии люди застыли в некотором отдалении.)

— Чего тебе надобно, женишок?

Увидев моё удивление, он лукаво рассмеялся. Оказывается, подсмотрел, что перед всеми иконами я зажёг венчальные свечи.

— Свадьба у тебя с небесами, — сказал он загадочно, и то первое, отталкивающее, впечатление от его бабского лица прошло.

— Я хочу всем вам дать денег, — сказал я и протянул ему две сторублевки.

Лицо его сморщилось, заслезилось, словно бы вдруг я обидел его.

— А кто ты такой, может, деньги-то своровал, женишок, и через нас откупиться хочешь?

Почему он так сказал? Бог весть! Но другие нищие уже окружили нас, стали высказывать своё недовольство хромоногим, мол, что привередничаешь, бери, пока дают. Но он, не обращая внимания, продолжал смотреть на меня своими ясными младенческими глазами. Я тоже не оторвал взгляда, между нами словно мосток из души в душу наладился. Такого со мной ещё никогда не случалось. Я и в прежние времена не очень-то любил врать, хотя приходилось, конечно. А тут такая радость охватила, что не надо врать. И я сказал, что я — поэт, и пояснил, чтобы понятней было:

— Стихи складываю, куплеты... И деньги не своровал, а стихами заработал. Хотел матери их послать, но не получилось.

Лицо его разгладилось, хромоногий радостно воссиял:

— Новый Пушкин!

Его утверждение развеселило. Вспомнилось литературное объединение, в котором за нового Пушкина надо было непременно платить мне наличными, а теперь, наоборот, я сам жаждал заплатить.

Хромоногий, словно бы услышал мои мысли, взял деньги. А уж за ним и другие Божии люди брали, и радовались, и славили Господа Бога, потому что ни с того ни с сего никакой обыкновенный человек не одарил бы их деньгами. Я и сам был в немалом удивлении, ведь для этого одаривания я вытащил из кармана тысячу четыреста рублей (ни больше и ни меньше) — ровно столько, чтобы каждому положить по две сотенные бумажки. Случайность, мелочь?! Возможно. Но я почему-то обратил внимание на эту случайность, на эту мелочь.

— Ты, женишок, и про нас куплеты сложи, про твоих первейших участников свадьбы! — всё призывал и призывал хромоногий, и всё смеялся, и радостно вытирал слезы, и наставлял, чтобы не откладывал, а сразу, только что вернусь домой, так бы и складывал про них куплеты.

Его наивность и умиление были столь непосредственны, что и я улыбался. А когда уходил, он, размахивая палками, вывалился следом на тротуар и закричал тонким, срывающимся на фальцет голосом:

— Свадьба, свадьба у тебя с небесами!

Это был перебор, пережим происходящего. Всё внутри у меня сжалось от его пронзительного крика. Я ускорил шаг и, не оглядываясь, скрылся за угол.

— Эй, соотечественник! — услышал оклик у самого уха.

Оглянулся и едва не спрыгнул в кювет. Рядом со мной, в полуметре, катил рубиновый «Мерседес», из бокового окна которого по пояс высовывался лысый молодой человек в жёлтой кожанке и с квадратным, точно клеймо, шрамом на лбу.

— На, возьми, ро́дный, — протянул он мне какую-то красненькую бумажку.

«Десять рублей?!» — мысленно удивился я.

— Соотечественник, куда ехать, где базар? — спросил он так, словно был иностранцем.

— А на какой базар?

— Да мне по барабану, на какой!

— Как это?! — не понял я. — Есть базар новый, а есть старый.

— А я ещё раз говорю: по барабану... Лишь бы базар!

Я показал, как проехать на старый, — он был ближе.

Машина, слегка присев, бесшумно рванула и вскоре исчезла за домами. Усмехнувшись, я положил деньги в карман, в котором ещё минуту назад лежали сотни. Что ни говорите, а в своих прогнозах Двуносый не ошибся: деньги текли ко мне как заговоренные.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава 38

Я сидел за настоящим двухтумбовым столом и смотрел в окно на площадь и дальше. Дальше... Над макушками деревьев виднелся красный окраек кремлёвской стены, за ним белая, словно из сахара, Часовая башня. Ещё был виден примыкающий к стене

сад и старейший на новейшей Руси памятник вождю мирового пролетариата, возле которого Двуносый со товарищи когда-то устраивал свой бизнес. Кстати, он не обманул и по весне не только нашёл, но и помог приобрести трехкомнатную квартиру.

Я встал из-за стола и с видом человека, впервые попавшего в неё, взялся заново оглядывать. Увы, я никак не мог проникнуться сознанием, что являюсь единоличным собственником сих замечательных хором.

Раздельные ванная и туалет. Потолок подвесной, с зеркальными полосками — галогеновые лампочки, точно глаза Аргуса. Раковина-тюльпан и ванна белее самого белого кафеля. Стены отделаны плиткой с беловатыми разводами. Пол в прихожей и на кухне — с подогревом. В туалете, кроме электронных часов и календаря, вмонтирован вентилятор, заправляющийся туалетной водой. Все краны и все приспособления, как, впрочем, и люстры, — импортные. Недавно зашел Двуносый — такой кухни он ни у кого не видел. Стиральная машина и холодильник — «Дженерал электрик». Микроволновка и посудомойка — «Бош». Плита — «Электролюкс». И всё это в финской стенке из белого пластика. Я уж не говорю о паркете, о дверях и окнах-стеклопакетах, о рифлёных обоях и арочке в коридоре. Словом, евроремонт обошёлся в ту же сумму, что и квартира. А уж «мебеля»: шкаф-купе полностью зеркальный, стеллаж из пластика, диван-кровать и кресла итальянские, пузыристые, лежишь или сидишь будто в подушках. Да что там: живи — не хочу! Все комнаты меблировал, кроме кабинета. Двухтумбовый стол, о котором я уже говорил. Стул. Два гвоздика на стене (на них — крылатки, моя и Розочкина). И ещё подушка и матрас на полу с двумя простынями. Матрас и комплект белья получил в подарок от администрации общежития — своего рода приданое. Помнится, приданому обрадовался. Положил на заднее сиденье такси — Алина Спиридоновна выбежала, поцеловала меня в щёку, расплакалась:

— Митенька, кого мы теперь будем оберегать и жалеть?! Ты-то был самый болезный, самый, не приведи Господи!..

Я тоже всхлипнул, глупая Алина Спиридоновна, а сердце у неё доброе. Добрее, чем у соседки Томы, — высунулась из окна в своей шахматной кофте и давай кричать:

— Митя, Митя... будет невтерпёж — возвращайся!

— Хорошо, хорошо — обязательно! — отозвался в ответ и побыстрее сел в такси, потому что на всех этажах окна пооткрывались и многие жильцы весьма громко стали интересоваться: «Это тот, который?! Смотри-кось, приоделся... на такси!..» (И так далее...)

Почему я обрадовался приданому, почему взял с собою дурацкий утюг, почему не выбросил на помойку крылатки? Самому невдомек. Ведь с августа месяца я уже не торговал ни стихами, ни пьесами — все продал подчистую. Даже кое-что из редакционных «залежей» подмёл. Моё литературное имя настолько круто пошло в гору, что однажды я удосужился отдельной радиопередачи, в которой какой-то начинающий поэт сообщал о великих поэтических созвездиях: Пушкин, Лермонтов, Тукай и, конечно, Слёзкин!.. Впрочем, на «залежи» меня подвигнул литзаказ Толи Креза. Он по старой памяти попросил, чтобы я придумал нечто подобное детским комиксам — «Раскрась сам». Какое-нибудь грандиозное произведение с указаниями, о чём писать, а уж стихи он не хуже других изобразит. Я сразу вспомнил об оратории Незримого Инкогнито, но предупредил, что её цена составит не менее десяти процентов от той суммы, в которую он оценивает свои стихи, потому что главная цена произведения — его стихи. Оценит Толя свой труд в двести тысяч, стало быть, двадцать тысяч долларов мои. А если в десять, то моя — тысяча. (Мне было наплевать, заплатит Крез за ораторию или нет — как говорится, задаром досталась.) Однако через неделю встретились (его телохранители меня доставили), он вытаскивает пятнадцать тысяч, я своим глазам не поверил, за свои кровные столько не получал, а тут!..

Я взял с него десять тысяч и попросил об одолжении: поговорить с шофёрами, водителями-перегонщиками.

— Хочу покупать машины в Германии, разрешили беспошлинный ввоз... Здесь налажу перепродажу, потому что на «Дуэтах вождей» весь исписался, — нагло соврал я. (Теперь, вращаясь среди бизнесменов, я, как губка, впитывал их повадки и лексику.)

Толя помог мне не из-за пяти тысяч, которые я скостил за ораторию, он помог мне как поэт поэту. Впрочем, к тому времени я уже многих «новых русских» оставил позади, так сказать, превзошел в бизнесе. Если кто думает, что у меня открылись какие-то сверхспособности, ошибается. После встречи с нищими на церковной паперти, а в особенности после встречи с соотечественником, облагодетельствовавшим меня десяткой из окошка рубинового «Мерседеса», я действительно поверил в прорицание Двуносого, что деньги сами жаждут быть моими.

Для тех, кто хочет заняться бизнесом, — пусть прежде всего почувствуют уверенность, что как бы дело ни складывалось, а деньги в конце концов будут их.

Я первым в городе наладил торговлю иномарками, да и нашими легковушками тоже (западные немцы продавали их за бесценок). Другое дело, что я не афишировал себя. Поэт-бизнесмен, как и моложавый поэт, — звучит вульгарно. В бумагах и всюду

всем заправлял Двуносый. Но сама идея совместного с немцами предприятия была моей. Денежное обеспечение тоже. Я рисковал всем, что имел, но — без сожаления. Я действительно был убеждён, что в конце концов все деньги будут моими. Кроме того, благодаря риску я забывал о Розочке. То есть не забывал, но память о ней тускнела. И ещё, подспудно я ощущал пропорциональную зависимость: чем больше у меня денег, тем меньше они могут понадобиться для Розочки.

Фантастика, но безработные люди как-то сами сорганизовались вокруг моих денег, и в течение двух месяцев мы круглосуточно перегоняли машины на двухпалубных прицепах от фирмы «Лантаг-Росс».

Фирма лопнула в середине сентября, но я уже передал её Двуносому, точнее, продал. Мне надоели деньги ради денег. К тому времени у меня было уже более двухсот тысяч долларов наличными, не считая трёх автомобилей для продажи. Впрочем, я сам себе надоел, деньги без Розочки не имели смысла, то есть их подспудный смысл, как я уже говорил, всё более и более отдалял её.

Уж не знаю за что, но вскоре Двуносого привлекли. Его фирму выставили на аукцион, и Феофилактович даже подумывал о продаже своего главного детища, летнего пивного бара, накрытого маскировочной сеткой и обнесённого красной кирпичной стеной, напоминающей кремлевскую. Стена привела меня в умиление. Бар без Двуносого и Двуносый без бара — близнецы-сироты.

— Сколько нужно, чтобы отстали, чтобы откупиться от завидущих людей?

— Семьдесят тысяч, — не моргнув глазом, выпалил он и тут же пояснил, что такая сумма ему нужна, чтобы выкупить в парке здание под ресторан. — За бесценок продаётся, городу наличка требуется...

И ещё у него «зуб» на заброшенное здание старого универмага, которое третий год стоит с выбитыми окнами. Но его можно заполучить только через городскую управу. (В нашей области стало модным возвращать старые названия не только улицам, но и управлениям, зданиям и так далее.) Двуносый как рыба в воде купался в наступившем времени и своими кремлёвскими стенами привносил в него какую-то свою неизъяснимую красоту.

— Хорошо, я дам тебе на пять тысяч больше, но с условием, что пятьдесят процентов дохода от ресторана будут моими.

Наверное, двадцать второе сентября 1992 года Алексей Феофилактович запомнил на всю жизнь — в этот день я дал ему (из рук в руки) семьдесят пять тысяч долларов. Дал без всяких расписок, без ничего. Впрочем, и я этот день запомнил. И вовсе не потому, что мне исполнилось двадцать четыре года. В этот день наконец-то пришла весточка от Розочки. Она поздравляла с днём рождения и сообщала крымский адрес, а в конце приписала: навеки твоя. (Это было что-то новое: пугающее и прекрасное.)

Да, двадцать второго сентября я был самым счастливым человеком. Отбил Розочке телеграмму со своим (именно своим, а не общежитским) адресом и извинился, что никаким образом не могу послать ей денег (Украина, став незалежной, не принимала денежные переводы). Предлагал всякие варианты встречи, но в конце концов она сама пусть решает...

И она решила. В двадцатых числах ноября (я как раз получил вторую повестку из военкомата) пришёл вызов, всего два слова: приезжай, ждём.

После той, первой, телеграммы меня несколько удивила сухость, но главное — меня ждали. Чтобы не усложнять дела, я купил за три тысячи долларов «белый» военный билет, в котором признавался инвалидом первой группы и освобождался от военной службы на все случаи жизни. Майор, военком, сказал мне, что где-то там в бумагах напишет мне косоглазие и отсутствие обеих конечностей.

Когда я ужаснулся: мол, зачем уж так?! — он резонно заметил:

— Повесткой безногого не вызовешь, а нарочному всегда можно сказать, что данный гражданин призывник на каких-нибудь водах — лечится.

Глава 39

Я прилетел в Симферополь в десятом часу. Самолет был практически пустым — жуткое зрелище, в огромном лайнере человек двадцать, не больше. У меня была сумка (через плечо), набитая всевозможными подарками, и отдельно — три бутылки армянского коньяка. Таможенник (это было не только необычно, но и дико) перевернул содержимое кверху дном, потом пробормотал, что из спиртного положено провозить только две бутылки. Он говорил на украинском, но так мямлил, что я его едва понимал. Мне показалось, что он нарочно мямлил. «Не понимаю — естественно, другая страна, зарубеж». Бутылку он забрал, а меня передал двум лоботрясам, которые учинили мне обыск по полной схеме, с пересчётом денег в портмоне. Благо Двуносый подсказал, чтобы доллары спрятал в кальсонах — под мышками бы нашли.

Выходил на улицу через коридор шоферов, наперебой предлагающих услуги — во все города и веси Крыма.

На улице было солнечно, тихо, настоящее бабье лето. Даже не верилось, что на дворе декабрь. Водитель «Жигулей», взявшийся довезти меня до Черноморска, сказал, что почти весь ноябрь лежал снег. Да и все эти дни погода не баловала — ветер прямо-таки шквальный, и вот только сегодня...

Два часа от Симферополя до Черноморска пролетели незаметно. Я в основном думал о встрече с Ро-

зочкой. Но всё же запомнилась дорога от Прибрежного до Евпатории, широкая и прямая, как взлётная полоса. А рядом, слева, — изумрудное море, лениво вздыхающее, сонное и такое большое, что не хватало взгляда.

За Евпаторией ландшафт изменился — бурые холмы, серые отары овец, сочно-зелёные озими и лесополосы, полные сорочьих гнезд. Вот, пожалуй, всё, что запомнилось.

Не знаю, может, море и погода на меня подействовали, а может, виною было мое состояние души, но, когда я увидел вросший в землю дом с отвалившейся штукатуркой, из-под которой виднелся жёлтый обломанный ракушечник, когда я увидел просевшую крышу, покрытую какой-то зеленоватой, поросшей мхом черепицей, я подумал, что попал не по адресу. Ветхость и запустение обескуражили. Я не мог представить, чтобы Розочка жила в столь неприглядном жилище. Однако улица и номер дома, выведенные на покосившемся фронтоне, не оставляли сомнений.

Я не поверил амбарному замку (сказался московский опыт), толкнул дверь. Она открылась, словно упала в яму, оставив на косяке петлю и замок. Окликая хозяев, спрыгнул в сени — ни звука. Нащупал входную дверь и вошёл в хату (всё-таки хату, изба и дом иные).

Непритязательность обстановки была соответствующей. Слева — окно, у окна — большой стол, накрытый вытертой клеёнкой неопределенного цвета. На столе переносная двухконфорочная газовая плитка на четырех кирпичах, сбоку у стены большой газовый баллон. Справа — полутораспальная кровать на панцирной сетке. (В пору моего детства подобные кровати уже даже на селе выбрасывали.) Перина, покрытая покрывалом, и две подушки под кружевной накидкой. За кроватью и столом — голубая занавеска, перегораживающая пространство хаты. Занавеска была наполовину отодвинута, и в углу, между окон, я увидел икону Богородицы под стеклом, а под нею — огонек в блюдечке. Я тут же невольно совершил крестное знамение и ощутил, что скованность прошла: я не один в доме. Все ещё не уверенный, что нахожусь у Розочки, осторожно ступил за занавеску, и, прежде разума, меня как бы опахнуло теплом Розочкиного дыхания. Я даже невольно засмеялся, что прежде разума угадал: здесь, здесь Розочка! Это уже потом я увидел на стене вырезки из журналов — принцесса Диана, принц Чарльз, мать Тереза и английская королева, — под которыми на куске холста сияла (именно сияла) вышитая стеклярусом надпись, ставшая мне уже родной: «Манчестер Сити».

Как и в прихожей, здесь тоже стоял стол, но накрытый не клеёнкой, а свежей скатертью, причём настолько белоснежной и кружевной, что вслед ей всё казалось белоснежным и воздушным. Два жёстких стула и солдатская кровать под бордовым одеялом не принижали значения иконы с лампадкой. То ли виною было движение солнечных лучей сквозь тюлевые занавески, то ли сияющая надпись и белоснежность стола, но в этой части горницы царил какой-то особый, прямо-таки небесный порядок.

Я положил сумку сразу на два стула, а сам, не раздеваясь (снял только полусапожки), лёг на кровать. И мне сразу стало так уютно и хорошо, словно я вернулся домой, к маме. Разумеется, я уснул. Ночь в поезде, толкотня в аэровокзале, перелёт, такси — в общем, всё собралось, и я уснул как младенец.

Проснулся от тихого, тонкого плача, который прерывался хриплыми, вполголоса, окриками Розочки:

— Ну хватит, уже набралась! Лучше шприц возьми, а то у меня руки дрожат, будто кур воровала.

Опять послышался плач, прерываемый тонким безутешным причитанием:

— Что ж ты делаешь, донюшка, родную мать заставляешь изничтожать тебя?! Господи, да что ж это такое?!

— Да тише ты, разбудишь... Изничтожа-ать...

Молчание, шорох, мягкий удар чего-то упавшего в ведро, внезапный щелчок отпущенного резинового жгута и длинный облегченный вздох.

Молчание. И снова едва сдерживаемый плач.

— Донюшка, ну и что они признали?..

— Медкомиссия?! А что они, мам, признают? — Розочка опять глубоко вздохнула и мягким ласковым голосом начала утешать мать.

Даже мне, хорошо знающему Розочку, трудно было представить, что это она ещё минуту назад разговаривала с матерью окриками.

— Если им верить, мам, мне уж когда они обещали... а я вот она, живая и невредимая. Хочешь — станцую, а хочешь — стопочку налью.

Судя по скрипнувшим половицам и возгласу «опля!», она действительно исполнила какое-то па с пируэтом, после которого почти беззвучно рассмеялась. Я тоже едва не рассмеялся, настолько заразительным был для меня её смех. По характерному звяканью стакана, а потом и не менее характерному бульканью содержимого угадал, что Розочка наполнила стакан спиртным.

— Ма, употреби.

— И употреблю, погоди чуток, — преодолевая всхлипывание, мать высморкалась, — сегодня не грех выпить, сегодня большой праздник: Введение во храм нашей Богородицы. Сегодня с утра лампадка теплится, и вишь, счастье — дорогой гость.

Мать встала с кровати, и по приблизившемуся скрипу половиц я почувствовал, что она вошла в горницу и, подойдя к иконке, перекрестилась и постояла, совершая внутреннюю молитву. Потом, уже

в прихожей, употребив и крякнув, чем вызвала заливистый смех Розочки, сказала громко и немножко нараспев, словно бы упрашивая:

— Пресвятая Владычица наша, славься! Приснодева Мария, славься, славься!

Я замер, потому что опять услышал скрип половиц, точнее, я ничего не услышал, а почувствовал присутствие Розочки. Она какое-то время осторожно осматривала меня, а потом плюхнулась сверху, ничуть не заботясь, что я отдыхаю.

А дальше все закрутилось, завертелось и навсегда осталось в памяти: лучистая доброта Розочкиных глаз, непроглядная темень окон (спросонок я не мог поверить, что уже ночь) и дородность Раисы Максимовны, Розочкиной матери, которую, очевидно по тонкому плачу, представил под стать Розочке, худенькой и хрупкой, а на самом деле она весила не менее центнера. Всякий раз, когда я спрашивал Раису Максимовну, налить ли ей коньяку, она согласно кивала и просила (это была её фирменная шутка) называть официально Брежневой. Розочка смеялась над её склерозом — не Брежневой, а Горбачёвой! На что мать отвечала, что в любом случае ей надо наливать полстакана.

Глава 40

В Черноморске мы с Розочкой прожили почти три месяца. То есть не в самом Черноморске — в Крыму. Вначале мы устроились в один из евпаторийских санаториев, потом — в ялтинский. Во всех санаториях Розочка каким-то образом входила в тесный контакт с лечащими врачами (обязательно мужчинами) и с приступом почечных или печеночных колик попадала в городскую больницу. Потом я навещал её, давал денег, а через день уносил прямо-таки целые ящики-посылки с ампулами морфия.

Да, Розочка начала колоться... Да, приехав домой, устроилась в больницу с одной целью: всеми правдами и неправдами доставать наркотики. Да, на незаконные действия она подбила мать, которую тихо понизили в должности (из старшей медсестры перевели в няни), только чтобы не увольнять, — некогда лучшая работница, награжденная орденом «Знак Почета». (Кстати, портрет Раисы Максимовны, наверное, и поныне висит на позабытой всеми Доске почета лучших тружеников района.)

Да, и я, её муж, стал соучастником Розочкиных преступных действий. Да, и я, по её наущению, вначале помогал ей колоться, а потом и сам вводил себе морфин. (Здесь хочу заметить, что на меня он не оказал завлекающего действия — вместо эйфории мною овладевали приступы рвоты и сонливости. Я бросил колоться.)

Не буду отрицать, всюду я преступал закон в пользу Розочки. Более того, никогда по этому поводу не испытывал никаких угрызений совести, да что там... даже лёгкого сожаления не испытывал.

Дело в том, что к моему приезду Розочка уже болела сонмом всяких болезней. Но главное (я позже понял, что это главное) — вновь обострился хронический ми-е-ло-лей-коз (произнес по слогам, чтобы выговорить). Поначалу среди других болезней я выделил мочекаменную. Именно почечные колики подвигнули Розочку на употребление морфия. То есть во время приступов ей прописали морфин, раз, два... и — привыкла. Это же фантастика, когда твои страдания одним небольшим укольчиком превращаются в сладостный кайф. Видя эти ужасные почечные колики, я никакого внимания не обратил на обострение миелолейкоза. Да и что на него обращать, если этому её миелолейкозу я когда-то спасибо сказал, потому что только благодаря ему (она сама меня уверяла) Розочка приехала в Москву и поступила в медучилище. Кроме того, после замужества она никогда не напоминала о нём. В общем, не обратил я внимания на эту самую болезнь и даже предлагал Розочке поехать на лечение в «западеньский» Трускавец. И вдруг, после Ялты (мы уже возвращались домой, к Раисе Максимовне), она попросила меня ещё раз остановиться в любом евпаторийском санатории или доме отдыха.

Мы остановились. У неё разболелись суставы, поднялась температура, но больше всего ей докучала потливость. (На симферопольском базаре я купил пять похожих на золочёные гильзы флаконов французских духов «Шанель».) Розочке едва хватало флакона на сутки. Я предположил, что у неё какой-нибудь грипп или обычная простуда. Но она жалостливо улыбнулась — «если бы?!». И стала тихо плакать... Впервые она плакала при мне, и впервые я чувствовал, что деньги — ничто!..

Конечно, я успокаивал её, говорил: мы уже однажды были вместе, и ничего, миелолейкоз испугался, убежал и сейчас никуда не денется, убежит!.. Ей нравилось, что я ни во что не ставлю её болезнь. И, уколовшись, уже засыпая, она пояснила, что в народе её болезнь называют — рак крови. Для меня это было худшее из откровений.

Она уснула, я вышел на балкон. Сумрак электрических огней, дождь, гудки портовых буксиров и густая, с брызгами дробь капель по плетёной белой столешнице. Я сел в кресло-качалку, нисколько не заботясь о порывах сырого ветра и струйках воды, холодяще сбегающих за шиворот. Я был потрясён — она моя жена, мы жили вместе, я столько раз обнимал и целовал её и ничего не знал о её болезни. То есть я знал, но я не знал, что она смертельна. Миелолейкоз — рак крови! Никогда прежде я не ощущал такого близкого дыхания смерти. Мое сердце проваливалось — зачем деньги, благосостояние?.. Мне не хотелось жить. Я даже думал, стоя на балконе: вот

было бы хорошо мне промокнуть и заболеть какой-нибудь двусторонней пневмонией.

Я вернулся в комнату совершенно озябшим и разбитым, но после горячей ванны и душа уснул мгновенно, а утром всё тело буквально звенело от избытка энергии. Розочке тоже стало лучше, и мы, не задерживаясь, отправились в Черноморск. При въезде в посёлок, на дорожном кольце, Розочка попросила таксиста завернуть направо, в сторону сельхозмагазина. Я думал, за какой-нибудь покупкой, но вместо этого Розочка рассчиталась с таксистом, и мы по росе и мокрому прошлогоднему будылью огородов пробрались к старому кладбищу и через пролом в заборе оказались на его территории.

Я ни в каком виде не люблю кладбищ. Я нёс сумку и старался не отстать от Розочки. Бетонные памятники — серо-зелёные полированные плашки с проступающей мраморной крошкой, напоминающие полуразвернутые флаги. Вверху, как бы под наконечником, выдолбленное углубление — звездочка, залитая суриком. Ни дерева, ни деревца, ни даже кустика — редкие кресты, тоже каменные или бетонные.

Розочка подвела меня к бурой могилке, над которой, как и всюду, высилась полированная плашка.

— Вот видишь, здесь похоронен мой отец — Фёдор Николаевич Пурпурик, — сказала Розочка и чуть-чуть отступила, давая место и мне постоять рядом. — Твой тесть.

Она коротко засмеялась и тут же задумалась. Впрочем, это был не смех, а какой-то внезапный смешок, словно бы она что-то подметила здесь уже оттуда. Я почувствовал, как волосы стали прорастать на руках. Но уже в следующую секунду волна страха, обессилев, опала. На меня, улыбаясь, смотрел симпатичный молодой человек, родившийся 27 мая 1950 года, а умерший 28 октября 1977-го.

— Теперь я и сама вижу, что очень похожа на него, — сказала Розочка. — Ему было двадцать семь лет, как Лермонтову. Через три года, Митя, ты его догонишь.

— Своего отца я уже догнал.

У Розочки подломились ноги, и я подхватил её и посадил на сумку, потому что после ночного дождя всюду было сыро. Но Розочка запротестовала — она ни на минуту не забывала, что в сумке коробки с морфием. В конце концов мы сели на соседнюю лавочку, и Розочка впервые, извиняясь и всхлипывая, попросила меня сделать укол. Нет-нет, это не было кощунством над вечным покоем. Её синюшное лицо выдавало, что она на грани обморока.

Потом она сказала, что отец работал на автокране и возле интерната (они строили теплицу) задел высоковольтную линию. Говорили, что, будь он в резиновых сапогах, ничего бы не случилось. Но все дело в том, что в резиновых сапогах практически никто и никогда не ходил в Черноморске, а уж в сухую осень?!

После укола Розочка пришла в себя, в том смысле, что тени исчезли, лицом посветлела. Она указала мне, что слева, рядом с могилой, вполне достаточно места для мамки. А справа, рядом с отцом, пусть похоронят её. Это было тягостно слушать, а тут ещё опять внезапный нервный смешок — пробежал и сгас, но не исчез, а как бы застыл на кончиках моих волос.

— Видишь, сколько места справа, тут и тебе хватит. — Ужасный истеричный смешок оттуда. Мои волосы вновь стали прорастать страхом, хотя я понимал, что после укола она могла впасть в детство. — Видишь, уклончик к забору, мне будет очень уютно смотреть на дорогу, — совсем уже дурашливо, будто говорила бог знает о чём, но не о том, о чём говорила, сказала она и, встав, побежала и плюхнулась на чавкающую траву рядом с холмиком.

Чтобы унять Розочку (сырая кладбищенская земля далеко не лучшее место, где можно поваляться), я тоже плюхнулся рядом с нею, только чуть пониже. В глаза мне бросилась асфальтированная дорога, которая бежала снизу, с гусиной балки, и именно здесь всего ближе подбегала к кладбищенскому забору, а потом опять отдалялась и наверху заворачивала к магазину.

На другой стороне дороги был тротуарчик, по нему шли школьники с красивыми яркими рюкзачками:

«...Она сказала, а он не пошёл, а она взяла и поставила двойку...»

«Нет, нет и нет — она ничего не говорила...»

— Видишь, Митенька, как хорошо отсюда видно. А я в детстве всегда любила смотреть на дорогу. Я всё думала, дура, что из Манчестер Сити приедет однажды ко мне принц Чарлз... ну не Чарлз, а какой-нибудь очень красивый доктор в белом халате.

Я встал и сказал Розочке, что нам пора идти. Я был настроен очень решительно, но, к моему удивлению, она, не возражая, поднялась, и мы пошли обратно тем же путём, через пролом в заборе. Когда спускались по тротуарчику к гусиной балке, она остановилась напротив могилы отца и очень серьёзно спросила, запомнил ли я её просьбу. Я ответил, что да, запомнил. И тогда, словно размышляя вслух, она сказала, что хоронить придется украдкой или с каким-то очень солидным разрешением (она так и сказала — «солидным»), потому что кладбище это уже лет пять как закрыли. Ещё она надеялась, что её отец Фёдор Николаевич, возможно, как-нибудь расстарается и поможет с её похоронами. Вдруг, почувствовав, что её мысли вслух слишком тяжелы для меня, без всякой связи с предыдущим спросила, знаю ли, что соседка в Москве называла её «миссионеркой любви»?

— Да, — сказал я. — Знаю.

— Ты, наверное, подумал обо мне что-нибудь плохое?! Признайся, признайся!..

Она, смеясь, стала самозабвенно, как это делают дети, тормошить меня. И как бы между прочим сообщила, что в Калькутте, когда мать Тереза основала первый дом для умирающих, к ней пришло много помощниц, которым она дала имя «миссионерки любви». Розочка вновь засмеялась, причём с какой-то нерастраченной внутренней гордостью, о которую всё, что прежде связывалось с её возможной неверностью, тут же разбилось и рассыпалось в прах. Был я — и мое понимание её. И это было так тесно: глаза в глаза, что если бы вдруг мы оказались на разных планетах, то все равно между нами нельзя было бы вставить самого тонкого лезвия. Я — и сразу она. Она — и сразу я, даже через тысячи световых парсек...

Глава 41

Впервые я рассказал Розочке о нашей трёхкомнатной квартире после черноморского кладбища. Я был очень подавлен, что все свое будущее она не распространяла дальше отцовской могилы, и поначалу хотел лишь развлечь её. Но с первых же слов мой рассказ захватил Розочку. Более того, даже мать затихла, как будто исчезла, и вклинилась в разговор только для уточнения подробностей о горячей и холодной воде.

Розочку интересовало всё: расположение комнат, кухни, ванной, туалета, кладовок, лоджии. Она спрашивала о качественности ремонта, высоте потолков, размерах окон и дверей, её интересовали обои в комнатах и плитка в прихожей. Она по нескольку раз требовала описаний зеркального шкафа и люстр. Помнится, когда я сказал, что полы в туалете и прихожей с подогревом, ни Розочка, ни Раиса Максимовна вначале не поняли, о чём речь. И только потом, когда я доходчиво объяснил, Розочка восхищённо всплеснула руками, а Раиса Максимовна, отодвинув штору, радостно подала пустой стаканчик:

— Ну и врать!.. Ладно уж, согласная, налей!..

Мы с Розочкой так и покатились со смеху.

Впоследствии я не раз рассказывал о квартире. Эти рассказы как-то очень сильно сплачивали нас.

— Рассказывай, с мельчайшими подробностями рассказывай, — требовала Розочка и, слушая меня, иногда засыпала без всяких впрыскиваний.

Вообще Розочка оказалась волевым человеком, она стала бороться с морфием. В отличие от меня, контролировала своё болезненное воображение. Но когда я впервые рассказал ей о голодных галлюцинациях, она пришла просто в восторг, мы с ней словно бы заново узнали друг друга.

— Митенька, ты — мой принц Чарлз, мой самый настоящий доктор в белом халате!.. Митенька, перестань, я сейчас заплачу! — закатывалась она от смеха.

Наше узнавание, а точнее, узнанность настолько объединила и укрепила нас, что решимость и мужество одного сейчас же становились решимостью и мужеством другого. Впрочем, как и безволие и малодушие.

В один из дней Розочке стало много лучше. Она подметала глиняный пол в сенях и, шутливо потребовав, чтобы я включил подогрев, напевала «Миленький ты мой, возьми меня с собой...».

Я лежал на солдатской кровати и едва не плакал от какого-то необъяснимого счастья и горечи. Потом вышел на улицу (был конец февраля), солнце уже припекало, и рядом с входной дверью, из-под врытых в землю камней ракушечника, уже пробились и расцвели белые подснежники. Я преподнёс их Розочке, и она, горячо подышав на них, вдруг сказала, чтобы я съездил в Евпаторию и на всех троих купил билеты домой, в нашу городскую квартиру. Да-да, она так и сказала — домой, в нашу городскую квартиру.

И я съездил и купил, только не на поезд, как она думала, а на самолёт. Я договорился с таксистом, который привёз меня из Евпатории, что через неделю он доставит нас в симферопольский аэропорт.

И он доставил, так что в день вылета мы обедали уже в Москве. Наши недекларированные «лекарства» прятала в своих обширных одеждах Раиса Максимовна — она еле протиснулась через «миноискатель». И вообще, с ней было столько мороки, что в конце концов и милиционеры, и «таможня» всюду пропускали её без проверки, чтобы она не нервировала и никого не задерживала, потому что надо было проверять либо её, либо всех остальных пассажиров.

В Москве я предложил Розочке съездить в Боткинскую больницу к какому-нибудь научному светилу, но Розочка так строго сказала «нет», что я больше не заикался...

Если кто-то решил, что в Крыму я истратил очень много денег, — нет и нет! Разница в ценах на Украине и в России была фантастической. Даже наркотики тогда там ничего не стоили. В Москве за полдня мы истратили денег много больше того, что тратили в Крыму за целый месяц. Правда, я не скупился; сразу после аэропорта остановились в гостинице «Спутник», и тут же в холле гостиницы в присутствии Розочки я поменял три тысячи долларов. Я думал, что её обрадуют пачки денег, но, к моему сожалению, она смотрела на них с каким-то испуганным изумлением.

— Митенька, неужели тебе так много платили за вирши?!

Она впервые со времён запрета попросила почитать стихи. Я прочёл посвящение — «Проклятые слова поэтов...». Розочка была потрясена:

— Митенька, ни за что не поверю, что у тебя была такая женщина. Сознайся, что придумал?!

Я смутился. Она вдруг перевела разговор, сказала, что я стал писать намного лучше прежнего. Это очень тронуло меня, я почувствовал, что Розочка стала другой, менее агрессивной. Раньше она ни за что не отстала бы от меня, моё смущение только подзадорило бы её... И тогда я признался, что теперь совсем не пишу — не тянет, «в гостях у Бога» распрощался со своей Музой.

Я, конечно, допустил оплошность. Но и здесь как по-новому она отреагировала! Улыбчиво приподняла брови, переспросила:

— Со своей Музой?! — И тут же с мягким и весёлым сожалением, нараспев, сказала: — Жа-аль, очень жа-аль, потому что теперь твои стихи настоящие, они, Митенька, дороже денег.

Это было так неожиданно и так приятно, что я пообещал: стихи будут, и предложил пойти по магазинам или в какой-нибудь парк или зверинец. И парк, и зверинец не работали, но мы всё равно поели пирожных, а потом пошли в универмаг.

Она примерила плащ, итальянские сапоги с немыслимым количеством пряжек и бляшек. Комбинированное платье — перекличка тёмно-бордового и тёмно-синего. И ещё одно — в золотой горошек до талии, а дальше клеш вперемежку с зелёными клиньями. В этом, в горошек, она была точь-в-точь как школьница. Платье до того подошло ей, она была в нем настолько красива, что продавщицы из другого, обувного отдела принесли ей белые туфли. (Незаметно для Розочки я их тоже купил.)

В магазине «Богатырь» купили Раисе Максимовне бордовый плащ и спортивный костюм «Рибок». А ещё коричневые туфли с пёстрыми шнурками — сорок второго размера, очень-очень похожие на мужские, но, видимо, из-за шнурков попавшие в женский отдел. Кстати, Розочке тоже купили «Рибок» и очень красивые кроссовки «Найк». Себе ничего не взял.

— Ты поразишься, — сказал я, — когда дома откроешь шкаф. Одно время я ездил в Германию — у меня столько всякого шмотья!..

В гостинице, прямо в кресле, уронив руку на пол, мертвецки спала Раиса Максимовна, а напротив на столе стояла её знаменитая темно-коричневая бутылочка с закручивающейся пробкой. Бутылочка была пустой, и я наполнил её «Столичной». Розочка очень выразительно посмотрела на меня, но ничего не сказала.

Приехали мы домой утром.

Когда приезжаешь из областного города в Москву, разницы почти не чувствуешь. Зато, когда приезжаешь из Москвы, разница огромная. Ни такси, ни носильщиков — ничего. Мне пришлось дважды возвращаться на перрон за чемоданами и сундучком Раисы Максимовны. К тому же всё вокруг было перекрыто милицией. Оказывается, ночью сгорело здание вокзала, точнее, его содержимое. Многие приехавшие сочли данный факт плохим предзнаменованием. А Раиса Максимовна настолько испугалась, что готова была повернуть назад, в Черноморск. Но всё обошлось.

С роздыхом мы наконец поднялись на площадку третьего этажа. Среди сумок, пакетов и чемоданов Раиса Максимовна сидела на своем сундучке, «как король на именинах...» и даже более — как козырный туз. Теперь было понятно, почему, несмотря на все уговоры Розочки не брать сундучок, Раиса Максимовна всё-таки его взяла, — когда она сидела на нём, чувствовалась её несокрушимость. Я почему-то разволновался и, пока возился с замком, почти физически ощущал плотность обступившей тишины. Наконец дверь открылась — вздох облегчения. И сразу удивлённый возглас Раисы Максимовны:

— Ще дверь?!

Мы с Розочкой весело переглянулись и со смехом стали затаскивать вещи. А потом началось пиршество, пиршество души. Я не знаю слов и понятий, которыми можно одновременно выразить и радость, и робость, взлёт и падение. Да-да, этому нет слов!

Розочка забежала в зал:

— Ми-тя! Ми-тень-ка! — Она бросилась мне на шею: и все её чувства как бы запечатлелись в поцелуе. И тут — голос Раисы Максимовны, какой-то испуганно-изумленный:

— Ле́по, ле́по... да что там — лепота́!

Раиса Максимовна посмотрела в окно, на золотой купол Софии, чуть-чуть выпрямилась и, совершив крестное знамение, поклонилась.

— Ле-по-та!

Машинально достала тёмно-коричневую бутылочку, но, почувствовав на себе Розочкин взгляд, вдруг смутилась и с такой детской растерянностью спрятала её за спину, что мне стало жаль Раису Максимовну, как если бы она была и моей матерью.

— Давайте, давайте, я тоже не откажусь, — вмешался я.

— Тогда уж и мне! — воскликнула Розочка.

Мы все по глоточку отхлебнули из бутылочки, а потом на равных ходили по комнатам и смотрели на всё как на сообща нажитое. Это странно, наверное, но я вместе с ними будто впервые входил в комнаты и так же, как и они, ощупывал шторы и покрывала и удивлялся коврам и обоям, дескать, живут же люди! И только в кабинете, в котором, кроме общежитской постели на полу и двух крылаток на стене, практически ничего не было, мы ничего не потрогали. Мы

как-то очень сильно почувствовали разницу «температур», во всяком случае, застыли как изваяния. Выручила всё та же Раиса Максимовна:

— Слава богу, хоть одна жилая комната!..

А потом началось новоселье, то есть самое настоящее пиршество.

Глава 42

Всё-таки Алексей Феофилактович нашёл себя! Одноэтажное здание, некогда огромное и безвкусное, а теперь с арками и колоннами, эркерами и лоджиями, с высокой «чешуйчатой» крышей и со стрельчатыми слуховыми окнами, казалось сказочным. Даже кирпичные трубы вентиляторов и дымоходов были отделаны какой-то кружевной виньеточной кладкой.

— Ну что, поэт?!

— Собственным глазам не верю!..

Мы обнялись. Двуносого было не узнать. Черное демисезонное пальто, красный шарф и какая-то с наворотами кепка. Из-под пальто белая рубашка, галстук — не Двуносый, а форменный, или фирменный, дипломат.

— А что ты хочешь, Митя, меня выдвигают в местную думу! Я хочу, чтобы ты тоже поучаствовал в моей группе доверенных лиц.

Вот тебе и Алексей Феофилактович!..

По внутренним залам и зальчикам мы проходили с оглядкой. Всюду кипела работа. Двуносый несколько раз подчеркнул, что ждал меня — опасается за отделку. Но опасаться было нечего, у него работали три бригады отделочников с Украины — настоящие мастера. В большом зале я сказал, что на антресолях будут стоять самые престижные столики, а потому ограждение и главная люстра должны быть произведениями искусства. К моему удивлению, Двуносый вытащил блокнот и тут же записал замечание.

Особенно мне понравился зальчик за антресолями, человек на тридцать–пятьдесят. Круглые окна — как иллюминаторы, а на стеклянных дверях клипер (знакомый мой «Катти Сарк»), точь-в-точь с пакета московского чайного магазина.

— Здесь будет зал Поэзии, — услышал я громкий и сильный голос.

За моей спиной стоял лобастый и совершенно заросший лицом молодой человек. Гривастый, как Карл Маркс, он между тем был тонок и звонок, самый настоящий цыплёнок с головой льва. В его глазах сверкал голодный огонёк, и он, разговаривая, кричал и поглядывал на «дипломат» в руках Двуносого. (Двуносый появлялся с ним в день зарплаты.)

— Я профессионал, и у меня есть картины, которыми готов поделиться, за соответствующее вознаграждение, конечно.

Мы познакомились — Николай Тяпкин! Нет-нет, он не поэт, он — художник-реставратор. Но это в прошлом, сейчас он на вольных хлебах, а здесь подрабатывает потому, что у него сын и дочь и они маленькие. Мы беседовали не более пяти минут и договорились, что он напишет портрет Розочки. Мне стало жаль львастого цыплёнка, он напомнил мои голодные дни.

Двуносый в общих чертах обрисовал обстановку, из которой я уяснил, что городская управа на весьма льготных для него условиях выкупила фирму «Лантаг-Росс». Довольный, он тут же пригласил пойти посмотреть, как идет ремонт бывшего ЦУМа. Наверное, и дурак бы догадался, что существует связь между продажей фирмы и покупкой ЦУМа, но я не люблю считать деньги в чужом кармане, хотя, в общем и целом, деньги в его кармане были мои.

— Ты говоришь о продаже фирмы, приглашаешь посмотреть ремонт ЦУМа и ни слова о ресторане — что думает о нём Лимоныч или, на крайний случай, Толя Крез?

Двуносый был потрясён моей проницательностью. Мы, не откладывая, поехали к Толе.

К моему удивлению, Толя Крез не хотел ничего и слышать о ресторанных делах. Контрольный пакет на троих?! Зачем ему контрольный пакет?! Он сейчас скупает великолепные стихи, которые со временем напечатает отдельной книгой под псевдонимом «Дмитрий Слёзкин».

— Как ты думаешь, Митя, разрешат бесплатную презентацию книги в поэтическом клубе «Нечаянная радость» или «Алая роза»?..

В общем, он не только отказался от совместного бизнеса, но и сказал (чем уже совсем озадачил), что такому талантливому человеку, как я, давно пора управлять каким-нибудь уважаемым заведением, в котором хотя бы изредка могли собираться люди искусства и приобщать обычных, простых людей к своим великим творениям.

Во время этой странной беседы Двуносый согласно кивал, соглашался с Толей и, точно тициановская «Кающаяся Мария Магдалина», закатывал глаза, очевидно войдя в роль представителя обычных, простых людей.

В отличие от Толи Креза, Лимоныч был краток и ясен. Он не стал кружить вокруг да около, а сразу сказал, что пятьдесят процентов акций они уже купили у Двуносого. Зато теперь у Алексея Феофилактовича контрольный пакет на старый ЦУМ, а старый ЦУМ довольно-таки лакомый кусок, так что Алексею Феофилактовичу тоже придётся раскошелиться. В ближайшее время он уступит пивной бар в пользу своих старых компаньонов — Тутатхамона и иже с ним.

— Пора, пора делать рокировку. Одно дело — когда в городской думе сидит бизнесмен, генеральный директор ЦУМа, и совсем другое — пивного бара.

Лимоныч как бы между прочим поинтересовался, что я думаю по поводу выдвижения Двуносого, мол, как он там — не осрамится? Я сказал, что моё мнение вряд ли имеет значение. И потом, если пятьдесят процентов они уже купили, то я не возражаю, а даже настаиваю, чтобы они купили и мою долю — и не меньше, чем за семьдесят пять тысяч, которые полгода назад я дал Алексею Феофилактовичу под идею как раз этого ресторана.

— А-а, так ты всё-таки внёс деньги! — радостно констатировал Лимоныч. — И как мы выяснили, без всяких расписок?!

Двуносый тут же взялся за арифметику, что-то там подсчитал в своем блокноте и, разведя руки, пожал плечами, дескать, что хотите делайте — всё именно так.

И тут Лимоныч удивил похлеще Толи Креза. Он сказал, что факт с деньгами меня плохо характеризует, единственное — что плохо для бизнесмена, то всегда хорошо для поэта.

— А поэт, — резюмировал Лимоныч, подняв указательный палец, — не может быть плохим человеком — исключено!

Он заметил, что практически все уважаемые люди города, в том числе и он, покупали у меня замечательные стихи, шедевры. А ныне уважаемым людям понадобился хороший человек, знающий не только православного Бога, но и других богов, и выбор пал на меня, Дмитрия Слёзкина.

— Тебя избрали третейским судьёй. Раз в году, накануне Нового года, будешь, как Соломон, разрешать споры между людьми, избравшими для этого тебя, и только тебя. И чтобы ты как судья действительно был независимым — ресторан в парке станет исключительно твоим. Прими его как знак признательности общества...

И ещё он сказал, что общество позаботится, чтобы у меня не было конкурентов.

Если бы в свое время я уже не оказывался участником путча гэкачепистов или участником демократического движения «белых носков», то, наверное, не избежал бы оскорбляющего Пуплиевича недоверия. Но я был участником... а потому всё воспринял как информацию и только спросил:

— А возможно, чтобы третейскому судье пришлось разбирать спор, скажем, между редактором «Н... ведомостей» и ещё каким-нибудь высокопоставленным чиновником?

Лимоныч усмехнулся, вытер платком совершенно лысую голову, встал из-за стола.

— Всё, всё возможно, Митя, — он похлопал меня по плечу, — кто имеет деньги, тот и заказывает музыку... Но хороший человек дороже, дороже денег!

Мы вместе вышли на улицу.

— Понимаете, Филимон Пуплиевич, я хочу вернуть все деньги обществу потому, что этими деньгами я на корню куплен. Какая уж тут независимость?!

— А вот этого, Митя, не делай ни при каких обстоятельствах. Пока «общак»... общество в тебя вкладывает деньги, ты в безопасности.

Он признался, что третейским судьёй меня избрали не без его участия, сказал, что чисто по-человечески он настроен помогать мне. Я поблагодарил, на что он ответил, что однажды и я ему здорово помог. Словом, садясь в машину, Лимоныч посоветовал придумать название клубу поэтов и жить не тужить, то есть писать стихи.

Разговор с Двуносым тоже был не менее удивительным. На мой вопрос, как он решился продать пивной бар, своё лучшее детище, Двуносый лишь ухмыльнулся: его компаньоны ни при чём, настоящим владельцем бара стал Толя Крез. Впрочем, Двуносому наплевать, Лимоныч прав: одно дело — заседать в думе генеральным директором ЦУМа и совсем другое — пивного бара, причём круглосуточного.

— Теперь ты, наверное, передашь мне дела, связанные со строительством ресторана?

— Ни за что, — ответил Двуносый.

У него с обществом контракт на ремонт здания под ключ, и он не намерен его расторгать, потому что благодаря «общаку» (в отличие от Лимоныча не поправился) он привозит стройматериалы не только для ресторана, но и для своего ЦУМа.

Двуносый пообещал закончить ремонт к первому мая и не хуже Лимоныча посоветовал писать стихи и подумать над достойным названием для клуба поэтов.

Круг замкнулся.

Глава 43

Весь март мы провели дома. Не буквально, конечно, но всё-таки... Раиса Максимовна вставала засветло и, опасаясь обилия кухонной техники, поначалу поднимала и Розочку. Но потом настолько освоилась, что даже включала микроволновую печь, то есть сама набирала программу. Посудомойку использовала только раз, считала деньги на её приобретение понапрасну выброшенными. Зато стиральная машина сразу понравилась: и качеством стирки, и сушкой, и даже барабаном из нержавейки, который ни при каких обстоятельствах не рвал белье. Особенно её умиляло прозрачное окошко, через которое можно было наблюдать смену режимов стирки. Словом, «Дженерал электрик» настолько пришлась по душе Раисе Максимовне, что она даже обиделась на наших русских инженеров:

— И как только им не стыдно, ракеты и спутники изобретают, а для родной бабы — ничего путе-

вого! Не поверю, что ума не хватает, пьют с утра до ночи!..

Раиса Максимовна осеклась и умолкла, очевидно, вспомнила про свою тёмно-коричневую бутылочку. Как бы там ни было, а кухонной техникой она овладела сполна и нахваливала меня по всякому поводу. Она была твёрдо убеждена, что нашей обыкновенной рядовой бабе ещё очень даже не скоро представится возможность похозяйничать на подобной кухне.

— Наши начальники — кто был наверху, тот там и остался, — рассуждала она. — После гэкачепистов маленько вспугнули их, как грачей, они покружили, покружили и ещё лучше сверху уселись, потому что сверху всего удобней усаживаться повыше и поближе к макушке.

Я никогда и ни в чём не перечил Раисе Максимовне. Если в Черноморске мои разговоры касались квартиры, то есть материального, то по возвращении из Крыма я всячески избегал подобных тем. И не потому, что следовал какой-то хитроумной тактике — это происходило по велению сердца. Да-да, «по велению...», и это не высокопарная фраза!.. Ну посудите сами, в зале — раздвижной итальянский диван. В спальной широченная американская кровать. А мы с Розочкой днюем и ночуем в моём кабинете, на полу. Отчего, почему мы валяемся на общежитской постели, весело укрываемся крылатками и нам хорошо, поистине хорошо?!

Раисе Максимовне, напротив, присутствие материального весьма льстило. Однажды я сказал Розочке, что нам пора наведаться к художнику. Она, как и прежде, стала отнекиваться, но тут вмешалась Раиса Максимовна:

— Давай сходим. И я прогуляюсь с вами, а то уж надоели дворовые сплетни.

Это она намекнула на посиделки возле дома. Надо сказать, что дворничиха и определённый круг пенсионерок (в основном заработавших свои пенсии в Заполярье) приняли её за свою.

— А что вы хотите?! С Крыма и Рыма ягодки, считай, с одного поля.

Мы шли по парку вдоль кремлёвской стены, и Раиса Максимовна удивлялась, что уже двадцатые числа, а снегу кругом почти по колено. Возле молчащего фонтана мы по её просьбе сели на лавочку, и она опять заговорила о том, что в Крыму уже давно пора сажать картошку.

— Да ладно тебе, ма, — сказала Розочка; они потихоньку стали препираться, но не зло, а в удовольствие, как это свойственно близким людям.

Мне было хорошо, я улыбался и думал о великой родственности душ. В самом деле, влажный асфальт парит, ручейки звенят, чешуйчато серебрятся, и мне кажется, я слышу шорох ноздреватого снега, проседающего под деревьями другого парка и другой весны.

Весна ещё лежит под снегом,
такая тонкая, с подснежник,
но всё же слышно иногда,
как ощутимо оживает
по капле первая вода.

Она, как маленькое сердце,
стучит по корке изо льда.
Она хотела бы погреться,
но холод ходит у пруда!

О, как его звон капель бесит!
На крышах, ставнях и в саду
он их сосульками повесил
для устрашенья на виду.

Но чем сильнее холодило,
чем жёстче капли стужа жгла,
тем больше те в себе копили
победоносного тепла.

И час пробил.
И — наступленье!
Лед тронулся — и в бурунах
вода несла освобожденье.
А проще — к нам пришла весна.

Мы, члены школьного литературного кружка, сидим на лавочке и прилежно слушаем нашего в прошлом старшеклассника, а ныне студента третьего курса факультета журналистики ДВГУ Валерия Губкина. Мы читаем ему свои новые стихи, и он тут же подвергает их разбору. Его оценки строги и нелицеприятны; вот он внимательно прослушал мое стихотворение «Пришла весна» и потребовал тетрадку — так легче обнаруживать недочёты.

— Некоторые... привносят такое своим красивым голосом, чего сроду не было и нет в их слабеньких стихах, — пояснил он, взяв тетрадку с моим стихотворением.

Намёк был слишком прозрачным, я приготовился к самому худшему, но Валерий неожиданно похвалил стихотворение и тут же посоветовал писать прозу.

— Твоя образная система хороша для романа, — сказал он. — Зима, воплощенная во льду. Весна — в тепле и воде. Это слишком общо, поэзия всегда кратка и конкретна. Холод — палач, и точка. «О, как его звон капель бесит! На крышах, ставнях и в саду он их сосульками повесил для устрашенья на виду». И так далее...

В то время любое отлучение от стихотворчества воспринималось болезненно, я чувствовал себя

оскорблённым. Но сейчас я ощущал свою родственность и с Валерием Губкиным, и с теми членами литературного кружка, с которыми тогда сидел плечом к плечу на лавочке. Наверное, генетическая родственность душ бывает не только физической, но и духовной. Ведь отразился же тот весенний день в этом дне и обогатил его. И почему именно тот, а не другой и не третий? Что-то такое есть в человеке, что делает его, несмотря ни на что, отзывчивым к совершенно удалённому, скажем так, индивидууму, порой даже в ущерб себе. Не мной замечено, что зачастую какая-нибудь нация гораздо ближе по взаимопониманию к другой нации, нередко враждующей с нею, нежели к самой себе, скажем, столетней давности. Всё-таки я думаю, в каждом из нас присутствует какая-то генетическая клетка духовности и она обладает избирательной памятью — на первое и второе отзывается, а на третье, увы, нет. Я предполагаю, что духовные генетические клетки растворены в самом воздухе, которым мы дышим, но они доступны нам лишь в моменты вдохновения. Или когда мы внимаем поэзии, музыке — словом, созерцаем красоту. Да-да, когда мы созерцаем красоту, духовные гены группируются так, что мы, внимая им, просветляемся. И здесь, как в невиданном калейдоскопе, столько вариантов и вариаций, что о клонировании духовного гена не может быть и речи.

Из глубины парка повеяло тонким запахом хвои и талого снега. Розочка, хохотнув, толкнула в бок:

— О чём задумался, детина?

В ответ я прочёл «Пришла весна».

Мы некоторое время помолчали, а потом Раиса Максимовна сказала, что после стихотворения как будто даже солнце повеселело.

Ресторан, а точнее, литературный клуб «Нечаянная радость» словно выпрыгнул из-за деревьев. Ажурные резные наличники, стрельчатая крыша, деревянные колонны, обрамляющие веранду, и итальянские арочные окна — всё было в гармонии и действительно явилось взору как нечаянная радость, как сказка.

Внутри кипела работа. В залах и на лестничных площадках набирали и шлифовали мозаичный паркет. На кухонных стенах трепетали иссиня-белые всполохи, шла сварка какого-то крепежа. В туалетных комнатах устанавливали фаянс и клали плитку. Даже для меня, довольно часто наведывающегося сюда, темпы строительства казались потрясающими — всё здесь менялось буквально на глазах.

В отсутствие Двуносого главный прораб стройки стал для нас и главным гидом. Особенно долго он распространялся на кухне: показывал, где проходят вентиляционные колодцы, где поставят электропечи и принудительные вытяжки, а где разделочные столы. При этом всякий раз поглядывал на Раису Максимовну так, что мне показалось, он принял её за шеф-повара.

В актовом зале, похожем на кают-компанию, главный прораб оставил нас на попечение художника, того самого гривастого цыпленка, который пообещал написать Розочкин портрет. Художник сразу стал кричать, то есть в его понимании — говорить. Вручил огромную папку эскизов по оформлению зала на антресолях, а сам, не давая никому опомниться, усадил Розочку на невысоком подиуме и, пока мы с Раисой Максимовной рассматривали эскизы, нарисовал её на фоне занавеса из ярко-красного бархата — бархата, водопадом упавшего на роскошную крышку рояля. Самое удивительное, что он ухватил сходство, какую-то утонченную горечь и отстраненность Розочки. Львастый цыплёнок, очевидно, и сам почувствовал, что ухватил что-то, что вне портрета, но без чего портрет не бывает полным. Быстренько спрятал рисунок — потом, когда портрет будет готов, он всё покажет.

Возвращались домой опять через парк, какое-то время шли молча, неожиданно Раиса Максимовна остановилась и взволнованно спросила:

— Митя, неужто весь ресторан — твой?!

Я кивнул.

— А деньги, за которые строители работают?.. Ну вот главный прораб... на свою зарплату твои деньги получает?

— Да, мои, — опять кивнул я.

Мне показалось неуместным говорить Раисе Максимовне о каком-то контрольном пакете, о каких-то теневых деньгах и тем более о своей новой должности третейского судьи. Она прямо, без обиняков, спросила и имела право на такой же прямой, без обиняков, ответ. Всякие ссылки на Лимоныча, Толю Креза или Двуносого могли только запутать и даже напугать Раису Максимовну.

— Это же море денег! — воскликнула она и огляделась по сторонам.

— Да ты не бойся, ма, никто нас не арестует... Митя начинал с торговли своими стихами, а теперь он — спонсор-золотодобытчик!

Мы с Розочкой весело переглянулись: до чего же она умна, до чего же читает меня, как раскрытую книгу!

— Я не боюсь, меня ноги не держат — это же море денег! — опять потрясенно повторила Раиса Максимовна и вдруг сказала взволнованно и торжественно: — Дети, берегите себя, при ваших деньгах много охотников объявится, чтобы втесаться к вам в семью и поживиться!

И опять я не стал объяснять, что как поэт более всего признан не просто в криминальной среде, а в среде... или, скажем так, среди теневой номенклатуры, а это для денег самая надёжная страховка уже потому хотя бы, что ходить против признанных поэ-

тов там много опасней, чем здесь, хотя официальные критики тоже хорошие головорезы. Словом, на её страхи мы с Розочкой только переглянулись и как-то неуместно, но весьма от души рассмеялись.

Мы слишком беспечно отнеслись к её потрясенности, именно потрясенности, а не страхам. После этого случая Раиса Максимовна замкнулась, перестала выходить даже к своим товаркам. В последующие дни мне стоило больших усилий удерживать её от общения с бутылочкой, пока однажды я не сказал:

— Чего вы волнуетесь? Деньги в Промстройбанке, и, чтобы ограбить меня, прежде надо ограбить банк. Другое дело, что самые опасные грабители сейчас сами банкиры. Но им, чтобы вывернуть ваши карманы, не надо приставлять пистолет к виску или нож к горлу, для этого вполне достаточно какой-нибудь миролюбивой галочки на полях вашего финансового отчёта.

Как ни странно, мои слова, что ныне можно грабить без ножей и пистолетов, успокоили её. Раиса Максимовна пришла в себя, вновь стала спускаться во двор на посиделки. Мне бы тут и умерить свой пыл, но нет... Увидев, что автодороги почти очистились и снег лежит только на обочине, я предложил Розочке выехать за город покататься, благо у меня три автомобиля.

Пришли мы с Розочкой на автостоянку и, как в сказке, одну машину посмотрели — волшебство, «шестёрка» кофейного цвета — как игрушечка. Вторую глянули — лучше первой, семёрка белого цвета: солнце на никелевой рамочке играет, ни за что не скажешь, что машине шесть лет. А уж к третьей подошли, и вовсе заглядение, ни в сказке сказать, ни пером описать: «Мерседес-Бенц» модели 190 «Е» рубинового цвета. Розочка как стояла, так и оцепенела. Я нажал кнопочку сигнализации, «мерс» мигнул фарами, я открыл правую дверцу — прошу, Роза Федоровна!

Она привстала на цыпочки, посмотрела на меня каким-то особенным взглядом, подошла и, упав в мои объятия, сказала:

— Ну, Митя, мне даже страшно, ты — сразу за Твардовским, а потом уже за тобой все другие современные поэты!

Почему она так сказала? Сие не знаю и не ведаю. А потом ещё повинилась за куртку, за джинсы, за шарф мой мохеровый...

— Да ладно тебе!.. — остановил я её.

Мне пришло на ум, что мы с нею два сапога пара. Грубо, конечно, но именно эта пословица привела в восторг. Два сапога — пара!.. Не назови она Твардовского и не повинись передо мной, я бы не потерял контроля, предложил бы Розочке как-нибудь в другой раз взять с собою Раису Максимовну, но, как говорится, в зобу дыханье спёрло, в своих фантазиях я уже представлял себя вторым после Твардовского, а потому на её предложение, недолго думая, повернул направо, домой. Уж очень мне хотелось угодить Розочке, ведь в душе моей играл оркестр серебряных струн.

Когда мы с Розочкой въехали во двор, Раиса Максимовна сидела на лавочке среди товарок. Увидев «мерс», они примолкли, а потом дружно засмеялись: Раиса Максимовна отпустила шуточку, явно по нашему адресу. Разумеется, она и думать не думала, что это мы подъехали.

А между тем Розочка вышла из машины и, слегка опершись о раскрытую дверцу, громко позвала:

— Ма, скорее иди сюда, поедем!

Раиса Максимовна опешила, как сидела, так и продолжала сидеть. Потом очнулась, повела плечами:

— Ты, что ли, доню?! А в машине кто?..

Раиса Максимовна быстро приблизилась, но в последний момент стушевалась, стала опасливо заглядывать в салон, стараясь углядеть меня за затемнёнными стёклами. Тогда я открыл дверцу и пригласил её садиться. Увидев, что за рулём действительно зять, она неуклюже, точно Винни-Пух в норку кролика, влезла в машину и, тяжело отдуваясь, плюхнулась на сиденье. «Мерседес» мягко присел и чувствительно, словно шлюпка, качнулся с борта на борт.

Когда успела сесть Розочка, я не заметил, даже хлопка двери не услышал. Откуда-то набежала пацанва, стали заглядывать в салон, корчить рожи:

— Мил-ли-арде-ры, мил-ли-арде-ры!..

В ответ мы с Розочкой засмеялись, и я не торопясь выкатил на главную улицу. Миновал телеграф, мост через Волхов, гостиницу «Садко», а затем свернул в аллею вековых вётел, уходящих за город. Вспомнилось бунинское: «Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи...» Нет-нет, шиповник никогда здесь не цвёл. Сквозь стройные ряды деревьев, стоящих по обе стороны дорожной насыпи, по которой мы ехали, всегда просматривались пустынные пойменные луга, в эту зиму как-то особенному заснеженные. Во всяком случае, когда я бросал беглый взгляд на обочину, мелькание снежных белых пятен между деревьями казалось мельтешением, а мельтешение — кромешной белой вьюгой, стеной, вставшей у насыпи.

— Боже! Словно на лодке — сквозь белый ливень, — воскликнула Розочка и повернулась к матери.

Я тоже посмотрел на неё через зеркальце. Сцепив руки на груди и изумлённо приподняв брови, она отрешённо смотрела в одну точку.

— Ма, ты чего? — обеспокоилась Розочка.

— Ничего, — ответила Раиса Максимовна, не отрывая взгляда. И усмехнулась: — Миллиардеры!

— А, ты вот о чём, — с напускным равнодушием проговорила Розочка.

— Не обращайте внимания, посмотрите: весна, весна кругом! — сказал я, прибавляя газу.

Мы, можно сказать, шагом проехали по «Синему мосту» и теперь сломя голову неслись в сторону автострады Москва–Питер. Я слегка опустил стекло, шины шипели по асфальту, как глазуньи на сковородке. Солнце сияло, солнце, подпрыгивая, скользило над макушками деревьев, словно чья-то бесшабашная голова.

— Да, весна, — задумчиво согласилась Раиса Максимовна и впервые глянула в окно. — Твой отец тоже шоферил, и мы не миллиардеры, а тоже поездили.

В поисках своей тёмно-коричневой бутылочки она машинально похлопала по карманам, но достать не успела — я притормозил у огромного панно, предваряющего и объясняющего дорожную развилку.

— Дальше — на Москву или на Питер, выбирайте!

Мы вылезли из машины, и нашему взору предстал тёмный ельник. От него тянуло хвойной свежестью и даже холодом. Лес стоял много ниже насыпи, так что глазам предстали тяжёлые разлапистые ветви, на которых кое-где ещё сохранялись наплывы снега. Наверное, подтаивая, он сваливался и крошился, во всяком случае, от снежной слюдянистой пыли воздух вокруг казался каким-то сладостно-мерцающим. Было совершенно тихо, но со стороны деревни, растянувшейся вдоль дороги, за ельником, доносилось веселое теньканье синиц. Оно почему-то только усиливало ощущение тишины и сладостного мерцания.

— Ах ты, благодать какая, прямо живая вода вокруг. — Раиса Максимовна глубоко, полной грудью вздохнула. — У нас в Крыму такое бывает в середине июля. К ночи дневная жара спадет, зажгутся звезды, встанет луна, войдёшь в воду, а море светится стоячим огнем, и звонкая-звонкая вокруг тишина, до чего ни дотронешься — звенит, аж поёт!

Она умолкла и, очевидно, в мгновение ока перенеслась туда, в полночный июль светящегося моря. Пожалуй, только машинальное похлопывание по карманам выдавало, что тело её каким-то непонятным образом ещё здесь.

— Да ладно тебе, ма, — остановила её Розочка. — Лучше подыши, ты же мечтала посмотреть на лес, подышать хвойным воздухом.

Раиса Максимовна согласилась, что да, мечтала, но сейчас ей надо ехать домой, пора сажать картошку. Мы с Розочкой в один голос стали разубеждать — ну на что ей картошка, на базаре купит. В ответ Раиса Максимовна многозначительно ухмыльнулась — она не миллиардерша. Насладясь впечатлением, вдруг хохотнула и не хуже Розочки враз погрустнела: картошка картошкой, а к двадцать седьмому марта, к дню поминовения, или, как она сказала, к поминальной субботе, ей край как надо быть дома.

В общем, катание по автостраде Москва–Питер пришлось отложить до другого раза и вернуться в город за билетами: железнодорожным — до Москвы и авиа — до Симферополя.

На следующий день, не простившись с товарками, Раиса Максимовна уехала.

Глава 44

После отъезда матери Розочка впала в депрессию, днями валялась на постели, и это было хуже всего. Хуже потому, что она захватила мой кабинет и не подпускала к себе, закрывалась. Все мои уговоры пойти поесть или, на крайний случай, валяться не на полу, а на тахте вызывали у неё прямо-таки приступы истерии. Она кричала, чтобы я убирался подальше, чтобы сам объедался и валялся, миллиардер несчастный. Потом плакала в подушку, и сердце моё разрывалось — я не знал, что делать, к тому же я ни на минуту не забывал о её болезни. Теряясь в сомнениях, то ли вызывать «скорую», то ли ломать дверь в кабинет, и вполне сознавая, что и то и другое для наших отношений смерти подобно, я действительно шёл в зал и как бы по её настоянию падал на тахту. «Смилуйся, Боже!» — шептал я в своих молитвах и горько сетовал, что Раиса Максимовна уехала, — как хорошо, как замечательно было при ней! Одним своим присутствием она привносила в наш дом покой и миролюбие.

И вот однажды, в воскресенье, как раз на другой день после поминальной субботы, зазвонил телефон. После очередной Розочкиной истерии я бессмысленно лежал, ни о чём не думая, и, естественно, трубку поднял машинально:

— Да, слушаю. У аппарата поэт Слёзкин.

Видит бог, никогда я не представлялся подобным образом, никогда всуе не поминал своей фамилии, а тут ещё и поэтом назвался.

В ответ раздался голос — зычный, с хрипотцой, который ни с чьим невозможно было спутать.

— Поэт-то по-эт, но мой зятёк — милли-ардер, а ты-то кто-о?!

Некоторые слова поскальзывались — плыли, как на заезженной пластинке.

— Раиса Максимовна — вы?!.. — Я обрадовался, стал расспрашивать, как она добралась и вообще как у них там... картошка, погода и так далее?..

Она рассказывала какими-то парящими восклицаниями и междометиями, дескать, всё хорошо и дома, и на работе, а как у нас, чем занимаемся? Мне не хотелось вешать лапшу, сказал, что после её отъезда мы никак не придём в себя: грустим, скучаем, места не находим. Зря она так поспешно уехала, надо было ей погостить подольше. И ещё сказал, что в тот приезд оставил подарок в стеклянной банке из-под кофе — надо отодвинуть подоконник окна, третьего от

входной двери. Там за коробкой с морфием я действительно оставил стеклянную банку, присыпанную камгой — высушенными водорослями, в которую положил ни много ни мало три тысячи американских «джорджиков».

Про подарок она, наверное, не поняла. А вот что скучаем, места не находим, жалеем, что она так скоро уехала, — поняла! Расчувствовалась, стала говорить мне грубоватые комплименты, слушая которые я и сам расчувствовался и не заметил, как из-за спины у меня выскочила Розочка и выхватила трубку. Трубку-то выхватила, но прерывать матушку не стала, дала ей высказаться.

Господи, как я был благодарен Раисе Максимовне за комплименты в мой адрес! Пусть грубоватые, пусть косноязычные, но искренние и такие необходимые мне именно сейчас, именно в эту минуту, когда благодаря зычности голоса они отчётливо слышны и Розочка просто принуждена их слушать. Нет-нет, лучшего адвоката для защиты моих пошатнувшихся прав просто невозможно было придумать... Это, конечно, сам Бог...

Вначале Розочка смотрела на трубку (она держала её, слегка отстранясь). Поскольку Раиса Максимовна не унималась и комплименты сыпались из трубки действительно как из рога изобилия, Розочка посмотрела на меня. Посмотрела строго, даже както насупившись, и вдруг — улыбнулась. Улыбнулась широко, откровенно, словно сорвалась с ледяной горы. Сорвалась и покатилась на санках, покатилась залихватски, с удалью, не ведающей о тормозах. Всё во мне так и отозвалось, так и зазвенело колокольчиками Валдая. Не знаю, что её развеселило, но, чтобы унять поток хвалебных слов, она накрыла трубку подушкой.

— Ишь ты, соловей, заслушался!

Тут уж я не стерпел, бросился к подушке:

— Пусть говорит!

— Так тебе и разрешила!

Розочка преградила дорогу, мы сцепились, упали на тахту, но борьбы не прекратили. Барахтаясь, я декламировал:

> И мы, сплетясь, как пара змей,
> Обнявшись крепче двух друзей,
> Упали разом, и во мгле...

Конечно, я декламировал, насколько это было возможным. Порой она так крепко сдавливала мою грудь, что у меня перехватывало дыхание. Но это только усиливало восторг. Стараясь вызволить трубку, я всеми силами тянулся к ней, а Розочка всеми силами противостояла. Мы, хохоча, катались по тахте как сумасшедшие. Когда же мне всё-таки удавалось ухватиться за подушку и мой перевес представлялся неоспоримым, Розочка вдруг подбородком, словно острым локтем, утыкалась между ребер так, что я не выдерживал, взбрыкивая, бросал подушку — мне было щекотно. Сколько времени мы боролись? Судить не берусь, но точно знаю, когда, обессиленные, мы лежали, переводя дух, и Розочка внезапно огрела меня подушкой, первое, что услышал, — голос из трубки:

— Никогда никем не гордилась, а тобою, зятёк, горжусь. Да-да, горжусь! Так что вы там, донюшка, уступайте друг другу и берегите, берегите себя. А у меня всегда всё хорошо!

В трубке так громко треснуло и затрещало, словно на другом конце провода её уронили. И сразу такой плотный сипящий стон, будто шквальный ветер влетел в трубку, и только потом все покрыл местный короткий зуммер.

Мы с Розочкой потянулись друг к другу, обнялись и как бы поплыли на воздушном шаре. И время остановилось или мы выпали из корзины времени?! Уж давно как сказано — счастливые часов не наблюдают. А мы были счастливы и даже более, потому что плыли не на воздушном шаре, а — на Земном, вместе с Солнцем, вместе с другими планетами, через звёздные поля, через туманности. Мы плыли как одно тело, потому что были единым миром, в котором начало одного служило продолжением другого.

Нет нужды говорить, что мы помирились и решили устроить себе в некотором смысле медовый месяц — съездить в гости к моей матушке, а уж потом куда-нибудь за границу.

Глава 45

Несколько дней мы готовились к отъезду, это были прекрасные дни. С утра я пригонял машину, мы объезжали магазины, рынки (искали подарки маме и её товаркам), а потом уносились за город — катались. Или останавливались на высоком берегу Волхова и наблюдали ледоход. Не знаю, есть ли в словах «Волхов» и «волхвы» какая-то родственная связь, но мне всегда представлялось, что есть. Я чувствовал эту связь как бы на вкус, кончиком языка. В самом понятии «седой Волхов» мне открывались белые-белые дали, холмы берегов, церквушки — открывалась вековая мудрость Святой Руси. А когда набегал ветерок и приносил со стороны Волхова запах талого снега и студёной воды, а закатное солнце возжигало золотой купол храма Премудрости, у меня не оставалось никаких сомнений, что в словах «Волхов» и «волхвы» корень един и он в святых дарах Богу. Убеждён, что во второе Его пришествие, которое уже «близ при дверех», именно с берегов Волхова понесут Ему волхвы свои святые дары: надежду, веру, любовь, которые и станут для мира новых дней золотом, ладаном и смирной.

Однажды мы с Розочкой стояли на крутом берегу — движущаяся равнина и крошево льда, звенящий шелест и мириады пузырьков воздуха, поднимающихся из тёмных глубин, вдруг окатывали нас, создавая иллюзию полёта. Водянистая пыль вздымалась волнами, и так же волнами вздымалась ярчайшая радуга, которая накрывала нас, — мы превращались в какие-то светящиеся тени, тени парящих птиц. Я предложил Розочке сесть в машину, но она неожиданно резко повернулась ко мне:

— Хочешь знать, почему я не стала новой матерью Розарией Российской?!

Оказывается, Розочка немало сил положила, чтобы приблизиться к своей сверхвысокой цели. Она побывала во всех женских монастырях Москвы, но, увы, всюду для пострига требовались какие-то непонятные рекомендации духовника и обязательно его благословение. А когда по примеру матери Терезы она вышла на улицы, чтобы помогать всем сестрам, нуждающимся в помощи, которых, как оказалось, хоть пруд пруди на любой станции метро, и начала с того, что подобрала пьяную женщину, — её, Розочку, тут же арестовали и посадили в СИЗО «по подозрению в грабеже пьяных лиц». И что ужасно — ту женщину, из-за которой разгорелся сыр-бор, несмотря на все уговоры, милиционеры так и оставили на автобусной остановке. Привалили к грязной металлической урне, словно неодушевленный предмет, и — уехали. А уж как над Розочкой издевались — не верили, что по бескорыстию пыталась помочь. Тогда в СИЗО она и познакомилась с Катрин.

Воспоминания о Катрин и вообще о той московской квартире были ещё достаточно свежими, болезненными, но Розочка всё же решила поведать о своих похождениях. Однако неожиданно даже для себя я взмолился не делать этого, пощадить нас обоих. В самом деле, если у меня не было сил слушать её откровения, то каково же было бы ей рассказывать о них?!

Любовь — это не только ты и я... Это ещё желание прощать и быть прощённым. Именно тогда, выйдя из радуги, я впервые почувствовал, что мы с Розочкой одна семья, одно целое, неразделимое...

Потом мы ехали в машине, я держал руки на руле, а она сидела рядом. Иногда я взглядывал на неё, и тогда она клала свою руку на мою и сжимала что было сил. Чувствовать вместе одну скорость, одну дорогу, одну судьбу... Я всей душой был благодарен Богу, что наконец-то Он просветил нас, что наконец-то дал почувствовать, что мы с Розочкой — одно целое. И это было тем более радостным, что мы собирались в гости к моей маме.

Но с поездкой ничего не вышло, то есть с поездкой на Алтай. Утром двадцать третьего апреля внезапно зазвонил телефон — Розочка опередила меня.

— Вызывает Черноморск... Ну и ма, в тот раз забыла сказать, что картошка уже взошла, — весело сообщила Розочка (я тоже улыбнулся).

Потом она побледнела и испуганно отдала трубку.

Звонил главный врач районной больницы. Он сказал, что сегодня, где-то во втором часу ночи, умерла Раиса Максимовна Пурпурик. Смерть наступила во сне в результате обширного инфаркта.

Внезапность звонка, официальность тона не оставляли сомнений.

— Как же так, ей всего сорок?..

Главврач какое-то время напряжённо молчал, а потом, сменив официальный тон на сочувствующий, поинтересовался, знаю ли я о её слабости к спиртному. Я ничего не ответил. Тогда он сказал, что начиная с Пасхи Раиса Максимовна, грубо говоря, не просыхала.

Никогда прежде я не видел Розочку столь испуганной. Она стала убеждать меня, что ехать на похороны не надо.

— Мы скажем главврачу, что это он не с нами разговаривал, и никто ничего не узнает...

— При чём тут главврач, при чём тут «никто не узнает»? Мать умерла! — вскричал я потрясённо.

Розочка упала на диван и зарыдала в голос. Кажется, она поняла нелепость и жестокосердость своих слов. Я не упрекал, я вдруг почувствовал, как глубоко она несчастна. А когда вернулся с билетами, Розочка уже спала. Я прошёл в кабинет, чтобы не разбудить её, и по какой-то случайности откинул матрас, лежавший на полу, — и тоже почувствовал себя глубоко несчастным. Под матрасом валялись использованные шприцы и ампулы из-под морфия.

Я тихо лёг на пол и стал смотреть в потолок. Но потолка не видел, он растворился и исчез как бы в тумане, как бы за далекой линией горизонта.

Розочка! Она опять стала колоться. Все эти дни, что пробыла в кабинете, она держалась на морфии. А как искусно маскировалась! Мне было жаль Розочку и умершую Раису Максимовну, но больше всего мне было жаль себя. Я не знал, что предпринять, что делать, как жить дальше?! Ведь, если Розочка опять стала колоться, значит, её опять стали одолевать невыносимые боли, а это уже явный факт обострившейся болезни. А обострение миелолейкоза (я теперь это знал наверняка) всегда смерти подобно.

Я лежал и смотрел... но ничего не видел, всё растворялось и исчезало...

— Митенька! Ты плачешь? Почему?..

Я не заметил, когда подошла Розочка. Ну что я мог ответить?! Я вынул из-под матраса руку с использованными шприцами и ампулами.

— Ах, это! — с грустью сказала Розочка и тихо легла рядом со мною.

Сколько мы лежали — бог весть... Неожиданно она прикоснулась к моим глазам и погладила их. Потом и я прикоснулся к её глазам — и тоже погладил, потому что это очень тяжело: смотреть за линию горизонта, за которой всё растворяется и исчезает как бы в тумане.

— Знаешь, Митенька, даю тебе слово, что брошу ширяться. Только вот в эти дни... я предчувствовала насчет мамáн... Но я выкарабкаюсь и брошу, ты мне, Митенька, верь, верь! А сейчас я очень боюсь, что не справлюсь, как-нибудь опозорю мамку, а этого нельзя... надо, чтобы все было по-людски, мама, может, из-за меня стала алкоголичкой, из-за моей треклятой болезни. Ах, Митя, Митя!..

Она заплакала, и я почувствовал, что сейчас и сам разрыдаюсь.

Мы приехали в Черноморск без приключений. Главврач выразил нам глубокое соболезнование, а потом сказал, что вся трудовая деятельность Раисы Максимовны была связана с больницей, поэтому трудовой коллектив постановил помочь её родным в организации и проведении похорон.

— Тем более что её дочь, Роза Федоровна, — наша медсестра.

Он посмотрел на Розочку очень внимательно и очень продолжительно. Мне показалось, что он хотел ещё что-то сказать, но не сказал. В общем, оказалось, что все вопросы, связанные с погребением, решены. Даже яма уже вырыта рядом с могилой мужа, то есть на закрытом кладбище.

Как ни плакала Розочка, как ни убивалась, а исподволь следила, чтобы всё прошло по-людски, с учётом воли матери. Так что, ничего не объясняя главврачу (верному коммунисту-ленинцу), мы уже на следующий день перевезли тело Раисы Максимовны домой, а в пять часов утра, в понедельник (по договоренности с батюшкой) — в церковь. Туда же подогнали и два автобуса ЛАЗ. В восемь, после отпевания, остановились у райбольницы, чтобы все, кто пожелает, проводили Раису Максимовну в последний путь.

Теперь трудно объяснить, почему я заказал два автобуса, а не один. Розочка была уверена, что провожающих и на один автобус не наберётся. Тем более что родственники по отцу уже давно растеряны, да и по матери никого не осталось. Однако Розочка ошиблась. Один автобус люди заполнили возле церкви. А уж от больницы за машиной с гробом ехали четыре переполненных автобуса. Посмертная популярность Раисы Максимовны разъяснилась на гражданской панихиде, на которой с прощальной речью выступили два председателя колхозов из соседних сел. Они указали на великое человеколюбие усопшей, которая умела находить не только доброе слово для сельчан, попавших в больницу, но и свободные койко-места, что для них, как неместных, всегда было немаловажным обстоятельством. Главврач тоже сказал прощальное слово, но он больше говорил о Раисе Максимовне как о незаменимой нянечке. В целом все прошло по-людски, и многие старушки, побывавшие на кутье и раскрасневшиеся от вина, прямо говорили Розочке, что и они были бы не прочь, чтобы и их так же отпели и похоронили.

Накануне Первомая я позвонил Феофилактовичу и попросил открытие ресторана провести без нас: на второе выпадало девять дней, и мы, конечно, никак не могли приехать. Кроме того, смерть матери надорвала Розочку. Главврач потребовал, чтобы она немедленно легла на обследование, но уже через три дня, ничего не объясняя, её выписали. Вначале я не придал этому значения и даже обрадовался, но потом, когда большую часть суток из-за болей во всём теле, а особенно в суставах, Розочка вынуждена была проводить в постели, я обеспокоился. Впрочем, не из-за её болей и не из-за постельного режима (после похорон я сам отлёживался несколько дней) — меня обеспокоили молчаливость и отчуждение, с какими она вернулась из больницы.

Когда я заговаривал с нею, Розочка отвечала не сразу, а чаще вообще не отвечала. Нет, она не игнорировала меня, она просто не слышала моих вопросов. Розочка словно бы отсутствовала, точнее, пребывала в каких-то таких далях, куда я не имел доступа. А однажды, вздохнув и с удивлением оглядевшись, словно вот только что впервые попала в горницу, она вдруг сообщила с тихой грустью и нараспев:

— Ма-а с отцом уже та-ам, в райских кущах!

Её удивление и грусть напугали меня, я почувствовал в них кроткую зависть утомленного сердца.

— Роз-зочка, мы сегодня же поедем в Москву, к лу-учшим до-ок-торам, — незнамо почему и я стал говорить нараспев.

Розочка жалостливо посмотрела на меня и, сжав мою руку, покачала головой: девять дней матери... она никуда не поедет... Потом на неё нахлынула волна словоохотливости — стала рассказывать, как они втроем, с отцом и матерью, ездили в заповедник Аскания-Нова. Отец тогда возил на «уазике» председателя райпотребсоюза, и у него вышла какая-то оказия с заездом в заповедник.

Розочка внезапно засмеялась — а ведь тогда её не было, потому что тогда была середина апреля, а она родилась в июне. Это очень странно и неправдоподобно, чтобы с чьих-то слов можно было столь отчетливо помнить и синеву неба, и бескрайний простор земли, и запах весеннего ливня, прошедшего стороной.

Они съехали с главной дороги на какую-то просёлочную, совершенно пустынную и тёмно-фиоле-

товую, словно пашня. Дорога не спускалась, а как бы падала, и казалось, что они не съезжают с холма, а проваливаются в бездну. Ветровое стекло потемнело, и первые капли ударили по нему с утробным рокотом землетрясения. Отцовские руки упруго налились, и уже в следующую секунду «уазик», точно самолёт, стал подниматься вверх. Подволок неба сдвинулся, и на фоне светлеющих туч она отчётливо увидела стаю голубей, взмывших ввысь. Она опять посмотрела на руки отца — волоски искрились красными золотинками, и она знала, что отец улыбается.

— Всё-всё, проскочили, — сказал он, и где-то за спиной, но совсем, совсем рядом прогромыхала железная колесница.

Она вновь посмотрела на ветровое стекло и только тогда поняла, что никаких голубей не было — были редкие капли, которые сбоку накладывались на синий прогал в облаках. А ещё через секунду крутизна выровнялась, и необъятная степь легла перед ними буйствующим пламенем тюльпанов.

Матушка говорила, что отец остановил машину, постелил клеёнку и бросил на неё распахнутый тулуп. Потом он вернулся к машине, а она, Розочка, хорошо помнит, как из-за туч брызнуло солнце и в пожухлой прошлогодней траве вспыхнули бриллианты... Особенно её удивил изумруд, покачивающийся на лодочке листа. Он горел, он полыхал таким искрящимся голубовато-зелёным огнём, что даже на красном пламени цветка ощущалось его как бы мерцающее дуновение...

Я наклонился к Розочке, глаза её были открыты, но по взору, обращённому внутрь, я понял, что она не видит меня, то есть видит в каком-то ином пространстве. Я сжал её руку, и она сразу приподнялась на локтях. Лоб был усеян мелкой сыпью — холодный пот. Я отёр его полотенцем, и мне показалось, что шея и плечи тоже покрыты мелкими бисеринками пота. Но я ошибся. Ни на минуту не прерывая своего рассказа (теперь она рассказывала, как они плыли на теплоходе в Евпаторию), Розочка невольно сбросила простыню, и я увидел, что это никакие не капельки пота, а волдыри, кое-где взявшиеся гнойничковыми корочками. От прилива воспалённой крови выступила сыпь, кожа на теле местами была ярко-красной и потрескавшейся. Теперь во всём, да-да, во всём я видел и чувствовал воспаление, да-да, даже в том, как она дышала — и говорила и говорила:

— Ма-а, смотри, какая радуга! Помоги, помоги мне, а то руки дрожат, будто кур воровала...

Я так отчётливо услышал плач, прерываемый тонким безутешным причитанием Раисы Максимовны: «Что ж ты делаешь, донюшка, родную мать заставляешь изничтожать тебя?!» — что, не колеблясь ни минуты, достал шприц и ввел Розочке морфий. Это удивительно, но под иглой вена вздулась, точно перетянутая жгутом.

Морфий подействовал быстро. Через минуту Розочка уже спала.

Глава 46

Конечно, я побывал у главврача. Конечно, он кружил вокруг да около... Конечно, обнадёживал, что кризис минёт и болезнь отступит. И тем не менее на моё требование немедленно дать направление в какую-нибудь московскую или на крайний случай симферопольскую клинику вдруг удивленно пожал плечами:

— А какой смысл?

После всех его увещеваний это было так неожиданно и так жестоко. Я растерялся:

— Как это — какой?!

И тогда он сказал:

— Крепитесь!

Главврач пообещал, что каждый день к Розочке будет наведываться медсестра, чтобы делать какие-то очень сложные уколы. И действительно, в течение недели она наведывалась, но с каждым днём, а точнее, часом приступы словоохотливости, сменяемые молчаливостью и отчуждением, становились всё продолжительней и продолжительней. Наконец наступило время, когда приступы стали как бы естественным состоянием Розочки. Впрочем, она и сама уже понимала, что с каждым часом её силы тают и болезнь отнимает всё большее и большее пространство. Теперь все свои силы и помыслы она сосредоточила на девятом дне поминовения Раисы Максимовны, которое выпадало на второе мая. Всякий раз, приходя в себя после сна, Розочка спрашивала:

— Какое число?

Как сейчас помню, был тихий полдень первого мая, во всём ощущалось весеннее умиротворение. Я включил «брызгалки», и в тени развесистой айвы какое-то время смотрел, как бабочки, «дыша крыльями», пьют воду. Потом я вошёл в прохладу горницы и тихо остановился у настенного календаря. Мне казалось, что Розочка спит, — и вдруг:

— Когда? — спросила Розочка.

Я невольно вздрогнул, но совладал с собой.

— Завтра.

— Завтра, — повторила Розочка и закашлялась. Нет-нет, это не был обыкновенный кашель. Это было вздувшее вены желание наконец-то вдохнуть полной грудью, но в груди что-то рвалось и срывалось, ограничивая и без того неполный глоток воздуха.

Я подбежал к Розочке и, как уже бывало, взял её на руки и вместе с нею сел на кровать так, чтобы, прильнув друг к другу, мы могли смотреть в окно. Как всегда, двумя руками она прижала мою руку к

груди. Я попытался достать из-под подушки массажную щётку, которой расчесывал её исхудавшее тело, но она не разрешила. Заглянула в меня своими большими-большими глазами и поцеловала мою руку.

— Митенька, я, наверное, скоро умру, — не то спросила, не то сообщила Розочка и, преодолевая кашель, добавила, что всё это потом, а завтра она хочет помянуть матушку, потому что матушка из-за неё, Розочки, померла, боялась... очень боялась родную дочь пережить.

Розочка закашлялась, и я обнял её всю-всю, чувствуя, как её кашель разрывает и мою грудь.

— Митенька, Митенька, ты уж завтра укольчиков не жалей! Как только скажу глазами (я её понимал без слов), так сразу и доставай шприц, а медсестру не вызывай, все её сложные уколы — тот же морфий.

Розочка захрипела, и я, опасаясь нового приступа, приказал ей молчать, не волноваться, я всё сделаю так, как она просит. В ответ она вновь поцеловала мою руку и, прильнув к груди, сказала:

— Митенька, это ты мой доктор в белом халате, это ты мой принц из Манчестер Сити!

Она помолчала, чтобы пригасить позывы кашля, вызванные волнением.

— Прости, Митенька... не смогла стать настоящей женой... Но там, в другом мире, буду ждать тебя... разыщу — где бы ты ни был... И ты скажешь: «Мы с Розочкой — одно... Роза — это лучшая моя часть, нет — это лучшая часть меня!»

Она опять закашлялась, и я опять приказал ей молчать, и тогда она попросила глазами, чтобы я сделал укол. И пока я готовился: разбивал ампулу, наполнял шприц, — Розочка смотрела на меня с такой проникновенной нежностью, словно я и впрямь был принцем из Манчестер Сити.

После укола я стал на колени перед кроватью и, прильнув к Розочке, сказал:

— Ангел мой, я люблю тебя! Ты — лучшая часть меня!..

Розочка ничего не ответила, но глаза её сделались такими огромными, что они вместили в себя больше того, что могут вместить слова, — и я заплакал.

...На второе мая день выдался необыкновенным: тихим, тёплым — серебряным. Высокие перистые облака, белое сияние солнечных лучей, как бы сыплющихся с небес, паутинисто тягучее гудение ос в одичавшем винограднике — всё придавало ему какую-то нездешность и даже нереальность. Да-да, на всём и во всём ощущался некий серебристый флёр лёгкой забывчивости и сна. В такие дни ирреальность мира представляется реальной, а реальность — достаточно призрачной. Как бы там ни было, а второго мая утром Розочка приятно удивила. Я проснулся — она сидела на моей кровати (то есть не на моей — я теперь спал на кровати Раисы Максимовны). Это было настолько неожиданно, настолько неправдоподобно, что, не веря себе, я протёр глаза.

Розочка засмеялась с той известной особинкой, по которой сразу угадывалось, что она приняла наркотик. В её состоянии это казалось невероятным. Но факт остается фактом — она сама встала с постели и сама сделала укол.

— Митенька, ты не забыл, что сегодня маме девять дней?!

Спросила с некоторой приподнятостью, словно предстояло не поминовение, а чествование. Конечно, и это я объяснил действием наркотика. Увы. Но об этом позже.

Всё, что нужно было сделать в тот день, — мы сделали. Посетили кладбище и положили букет живых гвоздик на могилу. Побывали в больнице — через главврача пригласили на поминальный обед медперсонал. Сходили в церковь, поставили свечи и попросили прихожанок, которые обряжали матушку, чтобы и они пришли помянуть Раису Максимовну. Кстати о прихожанках — о них вспомнила Розочка. Три сухонькие седенькие старушки словно три основные христианские добродетели: Вера, Надежда, Любовь.

— Знаешь, Митенька, они такие богобоязненные, такие уважительные, такие кроткие... Я бы и себя вверила им, пусть бы и меня собрали в последний путь...

— Ну что ты такое говоришь, Розочка?! — попытался я хоть как-то урезонить её.

— А что тут такого, Митенька? Старушки всё знают, всё понимают, потому и обряжают как на праздник. А это ведь так, Митенька, отсюда уйду, а там... встречусь с отцом и матушкой — чем не праздник?.. Ладно-ладно, не буду, не пугайся, я сама переговорю с батюшкой.

Всё в тот серебряный день происходило как бы само собой, без напряжения и усилий. Я нанял частника (он называл себя «таксистом по лицензии»), и мы ни в чём не испытывали проблем. В самом деле, и вино, и холодные закуски он завёз загодя, а горячие блюда успевал доставлять из ресторана прямо на стол — да-да, действительно ещё горячими.

Всё шло хорошо, и многие из медперсонала радовались за Розочку, что она поправилась. Вводило в заблуждение её приподнятое настроение. Раза два Розочка незаметно отлучалась как бы привести себя в порядок, но я-то догадывался об истинной причине отлучек. И хотя я точно знал, что без моей помощи она сама себе делает уколы, но, когда медсёстры радовались за неё, искренне верил, что всё так и есть: Розочка поправилась. Однако меня спустил с небес главврач — прощаясь, похлопал по плечу и в свойственной ему начальнической манере сказал:

— Крепись, сожми зубы и крепись!

После его «крепись» как-то враз силы оставили меня, а то бы точно нагрубил ему.

Во время поминального обеда очень много хороших слов говорилось по адресу Раисы Максимовны.

— Сколько помню, — сказала Розочка, — всё самое лучшее мама отдавала мне, она всегда жила для меня...

Розочка, всхлипнув, поперхнулась и, не имея сил говорить, заплакала. Тогда, чтобы отвлечь внимание от неё (даже в такие минуты уныние греховно), я произнес:

— Всё так и есть, всё лучшее она отдавала ей, а потом и мне. Приготовит что-нибудь вкусненькое и вот так вот возьмёт всё сразу... и отдаст мне: «Ешь, зятёк, ешь!» — и я возьму и — съем.

Слушая меня, Розочка вытерла слёзы и даже улыбнулась, когда красноречивыми жестами я стал показывать величину вкусненького. Вослед Розочке многие заулыбались, а седенькие старушки так ласково посмотрели на меня, словно мои слова касались только лично их.

После поминального обеда «таксист по лицензии» развёз всех по домам. А с седенькими старушками Розочка сама поехала: и проводила, и побеседовала, во всяком случае, вернулась умиротворенной и ещё какой-то возвышенной.

— Митенька, мама, наверное, была бы довольна, — сказала она и предложила съездить к морю, как когда-то к Волхову.

И мы поехали за рыбцех (есть такое полуразвалившееся строение барачного типа на крутом скалистом берегу, который острым клином заходит в море), там перед ним гладь воды расстилается на обе стороны, словно перед носом судна, а полуразвалившееся строение напоминает капитанскую рубку «Титаника». В первый мой приезд мы с Розочкой довольно часто бывали за рыбцехом — в свежую погоду белые барашки волн наскакивали на скалы и отпрыгивали, словно горные мериносы. А уж в тихую, солнечную (особенно на закате) белый известняк скал и руины рыбцеха казались розовыми, и очень легко представлялось, что мы на оторванном клочке суши, — «...не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Не знаю почему, но именно эти слова припоминались мне всякий раз, когда мы выходили на крутой берег. Припомнились и сейчас, и до того горько мне стало, что, перепрыгивая с камня на камень, быстро спустился к морю и умылся, чтобы Розочка ничего не заметила.

Она заметила. Во всяком случае, когда я вернулся, и сел с нею рядом, и она прильнула ко мне, и я её взял на колени, чтобы чувствовать всю-всю, она сказала:

— Митенька, очень-очень прошу никогда не плакать обо мне. Я скоро умру (она ещё теснее прижалась и, опережая моё возражение, зашептала с обжигающей горячностью), но я не умру, я оттуда буду помогать тебе. Где бы ты ни был — я буду рядом. Митенька, как только похоронишь меня... нет-нет, проводишь... Так вот, как только проводишь — сразу же и уезжай отсюда. Я не люблю этот дом, эту хату, эту развалюху, мы с мамонькой не жили в ней, а медленно, медленно так существовали. Митенька, только с тобой я и пожила чуть-чуть, а то всё умирала и умирала, но, кажется, уже совсем скоро я никого не буду мучить... Нет-нет, Митенька, подожди... (Опережая мои возражения, она опять прижалась.) Там, Митенька, там, в вечной жизни, я всегда буду ждать тебя. Я уже попросила этих седеньких старушек, чтобы собрали меня, чтобы обязательно надели платье, что в золотой горошек... такое, вперемежку с зелёными клиньями. Помнишь, ты говорил, что я в нём точь-в-точь как школьница? И ещё, Митенька, те белые туфли, что ты втайне от меня купил... Так и не надела их ни разу, всё берегла и сама не знала для чего, а теперь поняла...

— Ну что ты, Розочка?! — взмолился я. — Мы ещё сходим в них на открытие нашего ресторана и на дискотеку...

И опять она прижалась ко мне, сдавив мои руки.

— Погоди, Митенька, погоди... я в этих туфлях и платье в золотой горошек хочу понравиться тебе, когда выбегу встречать тебя. Да-да, чтобы там, в новой жизни, ты сразу узнал меня. Да-да, Митенька, узнал и полюбил, так же, как здесь, а большего мне и не надо. Посмотри, посмотри, это оттуда, с ангельских полей, серебряные лепестки сыплются!

Розочка отстранилась от меня и с неестественной твёрдостью посмотрела в даль моря так, что и я посмотрел вслед её взгляду. Я, конечно, не поверил в её серебряные лепестки, подумал, что началась галлюцинация, но нет...

Меня охватил восторг: над морем, словно кто-то распахнул окна, потоки белых солнечных лучей касались воды, и морская рябь играла и серебрилась, точно с небес и в самом деле были просыпаны звенящие лепестки. Да-да, звенящие... Правда, мне показалось, не лепестки — над морем как бы шёл дождь из серебряных монет.

— Господи, как красиво! — выдохнула Розочка.

И это действительно было красиво. Словно зачарованные, мы не могли наглядеться. А окна то закрывались, то опять распахивались в новом месте, и тотчас под ними в лучах солнца являлись взору сверкающие серебряные поляны. А дождь всё звенел и звенел. И море в благодарении всё серебрилось и серебрилось.

Да, это и впрямь был серебряный день!..

И вдруг, очнувшись, Розочка опять прильнула ко мне.

— Ты видишь, видишь радугу? — спросила и затаилась, словно давала время увидеть и оценить.

Под впечатлением серебряного дождя я готов был увидеть всё что угодно. Я вытягивал шею, крутил головой, оглядывался, но никакой радуги не видел.

— Какая жалость, что не видишь, а она такая большая — от горизонта до горизонта, мы уже плывём под нею. Видишь?!

Как бы навстречу радуге она рванулась так резко, что я едва удержал её.

— Видишь, видишь?!

Я ничего не видел, кроме того, что у Розочки начался приступ, на который, наложением, отягчающе подействовали наркотики, и она бредила, что называется, наяву — быть может, представляла нас на теплоходе, плывущем в Евпаторию.

— Да, Розочка, да, я вижу радугу, — согласился я.

Потом обнял её и, чувствуя жар её воспаленного тела, сказал, что надо идти домой.

Я взял Розочку на руки и невольно в который раз поразился ничтожной тяжести её тела. Она весила, наверное, меньше самого маленького подростка.

В машине она как будто успокоилась и даже немного вздремнула. Но дома её стал душить кашель. Обессиленная, она выглядела ужасно (живой труп), а глаза взывали — нет-нет! — кричали о помощи.

Я сделал ей два укола: один внутримышечно, второй внутривенно. Через некоторое время Розочка опять успокоилась и даже попыталась что-то напевать. Однако ещё через минуту как-то враз затихла и уснула.

Я вышел на улицу и сказал «таксисту по лицензии», чтобы он съездил поужинал, а потом уже не отлучался, дежурил до утра. Таксист стал отказываться, очевидно опасаясь, что я исчезну, не выплатив гонорара. Тогда я дал ему пятьдесят долларов, он укатил.

Он укатил, а я стал слушать шум ветра в макушках деревьев и смотреть на очень крупные зелёные звёзды, которые, покачиваясь, поднимались над горизонтом, будто топовые огни какого-то дрейфующего судна. На душе было пустынно и одиноко, так одиноко, словно я находился на необитаемой планете, на которой мне предстояло умереть.

Мысль о смерти испугала, но не напрямую, а через Розочку. Я вспомнил о миелолейкозе, ампулах с морфием, о том, что сегодня девять дней её матери, и почувствовал внутренний озноб — да, на этой планете без неё — смерть...

Я поспешил в горницу и только подошёл к Розочкиной кровати, как она сказала, что это не радуга, а мост, поддерживаемый ангелами.

— Да-да, Митенька, ангелами и миссионерками любви.

Она сказала это, приподняв голову, но не пошевелив губами, и так отчётливо, что я оглянулся.

— Нет-нет, я не вернусь, я устала, мы пойдём вместе, ма-а... — вновь как бы сзади меня сказала Розочка.

Я взял её на руки, и мы вместе стали смотреть в окно, в котором я видел растекающуюся на стекле звезду, а Розочка — радугу в лучах восходящего солнца.

Сколько мы так сидели, бог весть! Розочкина словоохотливость внезапно сменялась продолжительным забытьём, а то вдруг, очнувшись, она слегка отстранялась, ищуще взглядывала на меня и, неожиданно все вспомнив, припадала к моей груди:

— Митенька, ангел мой, не удерживай меня, отпусти! Там, Митенька, хорошо, там мы все-все вместе.

Я не понимал, о чём она просит, и только ещё теснее прижимал её к груди.

— Розочка, ангелочек мой, не уходи, не оставляй меня одного, — шептал я.

Розочка поднимала глаза, и по их неправдоподобной огромности я чувствовал, что причиняю ей душевную боль. И тогда, чтобы не терзать её, я замолкал, а чтобы надёжнее сохранять молчание, закрывал глаза. В одну из таких минут, кажется, уже на рассвете, внезапный сон сморил меня.

Мне привиделось, что мы с Розочкой стоим у солнечного родника, ручеёк от которого, звеня, падает вниз на скалы и там расцветает радугой.

«Где это мы? — спрашиваю Розочку. — Здесь так хорошо, здесь так красиво, здесь так бесподобно, что просто дух захватывает!»

«А ты догадайся! — говорит Розочка и, смеясь, отбегает от меня, приглашая поиграть в догонялки. — Ты же принц, мой принц?!»

Она ступила на самый краешек скалы, но я не успел испугаться. Словно лебёдушка из «Лебединого озера», Розочка вытянулась в волнообразном движении крыл — рук и перелетела через парящий над скалами ручей.

«Знаю, знаю... мы — в Манчестер Сити! — обрадованно сообщил я и спросил: — Правда, правда?!»

«Правда! — весело ответила Розочка и, мягко опустившись на другой стороне ручья, как бы играя, помахала мне носовым платочком: — До свидания, Митенька! До свидания...»

Но тут лёгким ветерком стало относить на неё радугу, и я вдруг увидел, что платочек в её руке из шёлка в золотой горошек, то есть как платье с зелёными клиньями, а на ногах белые туфельки, которые я втайне от неё купил в Москве, когда мы ехали к нам домой вместе с Раисой Максимовной.

Мысль о Раисе Максимовне (что её нет, умерла) встревожила меня. Я подумал: а почему это здесь Розочка в белых туфельках и платье в золотой горошек? Подумал, а Розочка вдруг тотчас прочитала мою мысль и сказала так ласково-ласково, как бы извиняясь:

«А ты, Митенька, догадайся, догадайся, ангел мой!»

Меня словно током ударило, так внезапно проста была догадка. Я очнулся, но прежде чувств уже знал, что произошло непоправимое.

— Прости, Розочка, прости! — сказал я вслух, толком не понимая, за что прошу прощения, но вполне уверенный, что она меня слышит и простит.

Осторожно, словно со спящей на руках, я встал и так же осторожно, словно спящую, положил Розочку на кровать. Распрямляя её ещё не остывшие члены, я подумал, что Розочка стала значительно тяжелее. Всё это время, что её укладывал, я избегал смотреть ей в лицо, а когда посмотрел — прежде мысли возликовал (мне показалось, что Розочка живая), но тут же вместе с мыслью и опечалился.

Розочка лежала с открытыми глазами, и на лице её была запечатлена жалостливая-жалостливая улыбка. Она словно бы просила у меня прощения — ну хотя бы за то, что стала для меня значительно тяжелее.

Я невольно простёр ладонь и закрыл ей глаза. Мои действия были машинальными, я чувствовал, что руководствуюсь не своим, а каким-то общечеловеческим опытом, который более моего полезен, но который сейчас, применительно ко мне и Розочке, почему-то ранит.

— Нет-нет, ты передо мною ни в чём не виновата. Это ты меня прости, потому что мне очень-очень одиноко. Да, очень...

Я зажёг лампадку перед иконой Божией Матери. Подошёл к Розочке, поцеловал её в лоб, перекрестил и сам перекрестился. Потом достал бутылку водки, два стакана и вышел к «таксисту по лицензии».

Таксист спал, откинув спинку кресла. Я постучал по капоту, он вскинулся, зажег габаритные огни. Потом, потягиваясь, вышел из машины и, увидев, что наполняю стаканы, спросил:

— Всё?!

Я ничего не ответил, подал стакан, накрытый бутербродом.

— Царство ей Небесное... совсем молодая, — сочувственно сказал таксист, и мы, не чокаясь, выпили.

Потом я ещё налил (ему поменьше, а себе опять полный), в общем, опростал всю бутылку.

— Она сказала, чтобы я не печалился, не оплакивал её, ей там... хорошо.

Таксист зябко поежился, но не от холода, и я отпустил его.

— Приезжай часам к десяти, — попросил и пошёл в хату.

Не глядя на Розочку, лёг на полу рядом с её кроватью. Мне хотелось, чтобы приснился солнечный родник, которым мы могли бы любоваться вместе с Розочкой, но мне раз за разом снилось, что я выхожу к таксисту и он спрашивает: «Всё?!»

И это «всё?!», нескончаемо множащееся и повторяющееся в сознании, как эхо, терзало меня так сильно, что я просыпался: да, всё... Всё потеряло смысл. Я остался один на необитаемой планете.

Глава 47

После похорон я не стал задерживаться в Черноморске и на другой день уже был в Москве, а утром следующего дня в Барнауле (стоял на площади возле автовокзала в ожидании рейсового автобуса в родную Черемшанку).

Я не был дома шесть лет. Для Барнаула — ничто, для меня — четверть моей прожитой жизни. И всё же я был как будто тем же, а всё вокруг — другим. Ларьки, ларьки и опять ларьки — они стояли повсюду... И музыка... Казалось, пришёл какой-то вечный праздник, но — только казалось. Иногда возле киосков и палаток, переполненных заграничными товарами, вдруг возникали потерянные лица сельских жителей, которые всеми силами старались не замечать крикливого изобилия, — старались, но не могли... Мешки с товаром, с которыми и они приезжали на рынок, выглядели нищенскими, словно сумы побирушек.

В полдень я сидел в переполненном «рафике» на своём новеньком чемодане. Мужики и бабы, тазы и вёдра и ещё всякая громыхающая утварь постепенно утряслись, превратились в единую живую массу. Даже я со своим инородным чемоданом стал её неотъемлемой частью.

За городом салон оживился, разговоры вращались вокруг цен и покупок, но больше — кто и что увидел. Мужикам, как по заказу, попадалась сплошная пьянь. (Ладно бы на вокзале или под забором — прямо на крылечке в паспортное отделение!..) Бабам — беспризорные детишки: худющие, грязные, с болтающимися головками на тонких шеях. Притом зло матерящиеся промеж собой, будто в умственном помрачении. (О таком, ин, и после войны не сказывали.)

У поворота к дому, у знаменитого, прямо-таки царского ясеня, я попросил остановить автобус. Когда был маленьким, мы с мамой часто отдыхали под ним. Когда подрос, залезал на него и в трещинах ствола, из которого сочился древесный сок, ловил майских жуков. После десятого класса, уезжая в далёкую Москву, постоял под ним, как бы на долгую память.

Ясень оказался не таким уж большим и царским. В разветвлении одна часть дерева была высохшей (местами омертвелая кора свисала рваными ремнями — виднелась застарелая, побитая личинками древесина).

Поставив чемодан, сел на него. Конечно, я мог бы приехать на такси, но так уж повелось со времён

Одиссея, что после странствий в отчий дом надлежит возвращаться в рубище. Начало мая, а в тени ледок — я ощущал запах осени, да-да, поздней осени и ещё печали. Мне было жаль этот усыхающий ясень, одинокую маму и себя — единственный сын, а только и нашелся, что послал пятьсот рублей.

Было горько и обидно, но не потому, что у меня полно денег, а у мамы их нет. Или — что ясень в пору моей юности был огромным, а ныне усох. Нет, конечно. То есть и это присутствовало, но было не главным. Главными были обида и горечь на что-то такое, что было вне меня, что я пропустил, не сумел вобрать и закрепить в сердце. В самом деле, разве мы с Розочкой не могли раньше приехать?!

Домой подвёз бригадир овощеводческой бригады Иван Иванович Огородников — ехал на одноконной подводе за семенным луком. Узнав, что я Евдокии Слёзкиной сын, многозначительно заметил:

— Уж если природа указала, тому не возразишь, точно предугадывает: это — овощ, это — фрукт, а это — техническая культура.

Я не понял логики, тогда он пояснил, что вначале Евдокия о муже слёзы лила, теперь о сыне, то есть обо мне, потому что — Слёзкина. Будь у неё какая другая фамилия, действия были бы соответствующими. Взять его — Огородников, результат — бригадир овощеводов, практически все огородничество на нём. А ведь плотничал, боролся с природой, хотел победить свою экологию, дескать, ты мне одно прочишь, а я, гомо сапиенс, другое возьму. Не взял. К старости всё равно огородничеством занялся.

У них в бригаде есть Матрена Баклушина. На ходу спит, а бить баклуши — первая! Огородами, вплавь через ледяную реку — а с работы убежит, и никто не заметит когда... Или Клеопатра Евлампиевна, бывшая доярка. С Горного Алтая приехала. Как лето, обязательно змея ужалит. В Черемшанке сроду никаких змей не было, и что же (он сам свидетель), приехала Клеопатра, и в то же лето у неё под крыльцом змеи завелись.

— А всё потому, что Клеопатра, — философски подытожил бригадир.

Прошлым летом к ним наведался некто Мардоний Хрюшин. В шляпе и с портфелем — на два ключика. «У вас в гостиничной комнате (при конторе) — клопчики». Чистюля такой и грамотный: инспекция, дезинфекция, акция, махинация... Всё — ция, ция... Ну ещё: чики, чики — спорчики, договорчики, огурчики, помидорчики...

Председатель колхоза растерялся, боязно с неизвестным человеком заключать договор на будущий урожай. Говорит:

— Иваныч, на тебя вся надёжа — мнение?

— Погодить надо. Проявит себя: либо на имени, либо на фамилии поскользнётся.

— Смотри, Иваныч, как бы твоя теория всем нам поперёк горла не встала: с соседями позаключает свои договорчики, а от нас как от приверед отвернётся!

Назавтра засветло пошёл на конюшню, а там, за скотными дворами, — огромная лужа, видит, посреди неё человек лежит, да так потерянно, словно валяется рядом со шляпою и портфелем. Вытащил и чуть заикой не сделался: лица нет — морда свиная, и даже не морда — рыло. С перепугу зуб на зуб не попадал — никак труп изувеченный?! Отёр соломой — дышит. Слава богу, не захлебнулся — пьяный. За ноги подтащил к сеновалу: шляпа, полная грязи, портфель — кизяк навозный, в задранных штанах — дерьмо. Пописал на него, чтоб маленько умыть, и ахнул: из-под рыла не морда даже, а губатое личико нарисовалось, и не кого-нибудь — Мардония Хрюшина.

Потом, вместе с председателем, открыли портфель, а в нём печатей, и штампов разных, и бланков, и государственных бумаг — пройда! Водочка подвела...

— Хотя что напраслину возводить, — повинился бригадир. — Сейчас все пьют. По осени не захотели мардониям свеклу отдавать, а ныне сами, кому не лень, самогон гоним. А участковый (Пробников Ефим) навроде дегустатора — первая чекушка его. Вчера — Сто святых. Завтра — Благовещение. Послезавтра — Вербное воскресенье... За тысячу лет Крещения Руси... каждый день календаря — праздник. Так что, если иметь надлежащее здоровье, можно целый год не просыхать...

Он поведал, что уже ставил вопрос на колхозном собрании о переименовании Черемшанки в Мардонию. Все обозлились на него, а за что?

Возле дома, помогая снять чемодан, посоветовал выйти вечерком к плетню и постоять, послушать деревню.

— В редкой избе не услышишь песняка, а почему?.. Да потому, что там, — он указал пальцем в небо, — деревня наша уже переименована, мы — мардонайцы!

Я поставил чемодан на ступеньку крыльца и огляделся. Куры, промышляющие у покосившегося плетня. Летняя кухня, собранная из каких-то немыслимых кусков фанеры и вагонной рейки. Забор из жердин, разделяющий внутренний дворик. Во всём ощущалась крайняя бедность.

Я подошёл к тополю и подивился дымчатой свежести его коры и ещё тому, что всю эту бедность я уже видел. Да-да, конечно, я всё это видел в Крыму. Но там и запустение, и бедность, и огород, и деревья, и вся природа вокруг имели самостоятельное значение. Они были всегда и всегда были без меня. А здесь всё: изба, и летняя кухня, и сараюшки, и покосив-

шийся плетень, и этот просыпающийся тополь, и всё-всё, что я видел своими или мамиными глазами, — было моим, было со мной, было частью меня. Многое, конечно, изменилось, стало иным, но мы узнали друг друга. Узнали. Если бригадир Огородников прав и там, на небе, уже переименована Черемшанка, то это произошло и по моей вине.

Я не стал вытаскивать палочку, на которую была закрыта дверь в избу. Я вспомнил «электрические» лампочки стеклянных банок своего детства, умного и приветливого Джека, согбенную старуху Коржиху, пугающую своей клюкой, и, как в детстве, сел на крыльцо, уверенный — где бы ни была сейчас мама, она думает обо мне, и надо только немного подождать: она уже спешит домой.

И точно, только я сел на крыльцо, только посмотрел на закатное солнце, на горящие стеклянные банки на плетне, только посмотрел в даль нашей колхозной улицы, как сейчас же и увидел её, спешащую... А за ней голубоватую, с белым подбрюшьем, козу и двух белых, как снег, козлят. Ещё я увидел Джека, то есть пятнистую дворняжку, очень похожую на Джека, которая бежала впереди и изредка, поджидая маму, подтявкивала в сторону избы (очевидно, чувствовала во дворе моё «постороннее» присутствие).

Мама прошла мимо колодца и подошла к воротам во двор для скота. У ворот её загораживала сараюшка для угля, но и так было ясно, что мама загоняет коз. Потом её голова в тёмно-коричневом платке с красными яблоками по окрайку появилась над калиткой.

Пятнистая дворняжка, отбежав едва ли не на середину улицы, заливисто залаяла.

— Ты чего, Шарик? — недоумённо спросила мама, но его беспокойство уже передалось ей.

Открывая калитку, она внимательно оглядела палисадничек по-над плетнем, готовая застать в нём чужую козу или другую непрошеную живность. Она даже подняла прутик, чтобы разобраться с потравщиком. И тут бросила взгляд на крыльцо.

— Ма-а?!

Она вздрогнула и, точно маленький ребёнок, пряча прутик за спину, попятилась и села на лавку у плетня, которую я не приметил.

— Ми-итя! — выдохнула мама и так быстро и мелко закивала головой, словно ещё что-то хотела сказать, но ей не хватало воздуха.

Не помня себя, я слетел с крыльца; мама приникла лбом к моему плечу, и я крепко-крепко сжал её голову.

— Ма-а, ну теперь-то чего?

Я осторожно усадил её опять на лавочку.

— Ничего, ничего. — Мама отрешённо уставилась на свои ноги в резиновых сапогах. — Как жеть, как жеть эт я?!

— Да ладно тебе, мам, я только что приехал. Меня подбросил на подводе Иван Иванович Огородников.

Я присел на корточки и стал подзывать Шарика. Он как-то очень умудренно смотрел на мои пустые руки — и не подходил.

Мама продолжала молча сидеть, машинально теребя прутик. Господи, какая она маленькая в этом огромном тёмно-коричневом платке, в этом широком плюшевом жакете, в этих больших резиновых сапогах. И ещё этот прутик в руках, с которым она и вовсе кажется подростком. Господи, как сильно она постарела: глубоко впавшие глаза, морщины, изрезавшие лицо, — а ей ведь всего сорок четыре года. Я вспомнил, как ещё маленьким мама водила меня по барнаульским больницам... А потом, когда я уже учился в восьмом классе и жил в интернате, она не упускала ни одной подвернувшейся оказии, чтобы прислать мне коржиков и варенья...

А теперь я сидел на корточках и всеми силами старался не видеть, как она беспомощно теребит прутик. В этой её беспомощности я чувствовал свою вину — мы с Розочкой так и не удосужились сообщить наш адрес. Да что там?! Я не удосужился!..

— Шарик, Шарик! — позвал срывающимся голосом.

Шарик утратил очертания, расплылся в какое-то пегое пятно. Ужасная безнадёга, прострация — я чувствовал себя мардонайцем. И вдруг ласковые скользящие прикосновения: Шарик таки подошёл ко мне и стал лизать мою руку.

Я заплакал.

Глава 48

Изба — деревянный крестьянский дом. Однако не скажешь: моя изба — моя крепость. Как, впрочем, не скажешь: не красен дом углами, а красен пирогами. Чувствуется подделка, фальсификация. Мысль почему-то «не проглатывается», «стоит, как кость в горле». И совсем другое: мой дом — моя крепость; не красна изба углами, а красна пирогами. Вот это вот «изба и пироги» так и льётся, так и светится лучезарно.

Мама отодвинула загнетку — из печи пахнуло полузабытым дымком, и сразу же вспомнились настоящие домашние пироги с капустой. Да-да — с капустой.

Про пироги зря я... Но мама обрадовалась и, затопив печь, побежала по соседям. Пока её не было, осмотрел дом. Начал со своей комнаты.

Тот же сундук возле обогревателя, тот же овчинный тулуп на нём. Тот же стол у окна и тот же стул. В левом углу та же этажерка с книгами, а в правом — солдатская кровать повдоль деревянной перегородки. Тот же морёный платяной шкаф, величаемый

гардеробом, и тот же половичок из разноцветных лоскутов. Всё было прежним и в то же время абсолютно другим, музейным. И не потому, что комната выглядела нежилой...

Я тихо опустился на сундук — меня удивила, точнее, шокировала портретная галерея писателей-классиков на стене: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин, Достоевский, Толстой, Шолохов, Есенин, Булгаков, Шукшин, Чехов, Блок. На столе, естественно, стоял мой портрет.

В груди защемило, словно Шарик опять лизнул мою руку.

Сухие березовые поленья полыхали белым, почти бездымным пламенем. И только изгибаясь и выплескиваясь в дымоход, пламя по краям темнело — отдавало чёрными курчавистыми струйками. Я немножко постоял у устья. «Журчание огня» — это очень точно сказано.

Кухня. Плита прилеплена к печи. Вначале ногу ставил на краешек табуретки, на которой стояла дежка, потом — плиты. Шаг на приступочку возле котла — и ты уже на лежанке, застеленной поверх всего старым с проплешинами кожухом. Сидеть на печи всегда было уютно и радостно. Оттуда я смотрел на пышущие паром чугунки, на раскалённую докрасна плиту и, вытянув шею, плевал на неё. Плевок мгновенно сворачивался, превращался в шарик и испарялся. Это было так интересно, что, увлёкшись, я терял бдительность и довольно чувствительно получал по губам.

— Вот тебе, баловник, — приговаривала мама, потрясая полотенцем. Весело прыснув, я прятался и уже из глубины «берлоги» наблюдал, как, напевая, мама месит тесто. Всякий раз, отстраняясь от дежки, она успевала взглянуть в мою сторону, чем вызывала у меня бурю смеха. Мне казалось, что главным было не тесто, а такой вот весёлый способ общения со мной. Господи, лет двадцать прошло, а то и поболее, а кажется, что вчера сидел на печи.

За кухонной перегородкой (с широким проёмом вместо двери) — прихожая комната. Именно комната — посреди большой стол с придвинутой к нему лавкой. За этим столом мы принимали гостей. Так что прихожая была сразу и гостиной.

Подошёл к раме — на стене пожелтевшие семейные фотографии. На одной из них я в матроске и берете с помпончиком — у мамы на руках, а рядом, на табурете, улыбающийся отец с гармонью. Внутренне вздрогнул — отца обогнал, ему здесь не более двадцати трёх... и похожи — один в один...

На перегородке — вешалка, гора всяких фуфаек на ней. Дальше — обогреватель: высокий, от пола до потолка, широкий — до стены, отделяющей гостиную от главной комнаты. Возле обогревателя — топчан, накрытый верблюжьим одеялом. Когда-то я любил, лёжа на нём, читать книги.

Главная комната. Может, потому главная, что здесь целых три окна и все — в сад? Может, из-за китайских роз, стоящих в кадках и похожих на деревья? А может, виною полуторараспальная кровать, блестящая никелированными шариками, накрученными на такие же блестящие прутья? (Кстати, одного шарика нет — случайно проглочен...) Впрочем, эта комната главная прежде всего из-за огромного зеркала, висящего над старинным комодом.

Я заглянул в зеркало, в нём с каким-то едва уловимым опозданием отразились мои «саламандры», комод и ещё часть кровати с головной спинкой. Но самое удивительное, что все предметы в зеркале были более выпуклыми, а потому более реальными, чем на самом деле. Вспомнилось, как однажды лёг возле комода на пол и уснул.

Приснился: беленький домик в глубине двора, дорожка, усыпанная мелким розовым гравием, низкий штакетник с ниспадающими на него рясными кустами алых цветов, утреннее солнце и алмазно вспыхивающая роса на тёмно-зелёных листьях. И ещё звук гармошки, лёгкие переборы.

Я посмотрел в сторону домика (боялся, что кто-нибудь появится и помешает мне сорвать цветок), но там было тихо и пустынно. Выбрав красную розу, осторожно потянул на себя — огнистый ливень обрушился на мою голову. Я проснулся.

— Господи, где ты был?! — испуганно прошептала мама. — Благо кто-то шевельнулся в зеркале, а то бы точно наступила...

Она подняла меня и пришла в ужас: все моё тело горело, а одежда на плечах была до того влажной, словно явился я из-под душа.

Сменив белье и укутав меня в одеяло, мама стала готовить всякие лекарственные снадобья, а я лежал на широкой никелированной кровати и смотрел в потолок. Тёмная точка надо мной расширилась, и от неё, словно от камешка, брошенного в воду, расходились снижающиеся ко мне круги. Они казались вязкими и в то же время упругими, будто всё это происходило на каком-то резиновом полотне. Запомнилось отчетливое ощущение, что резиновые круги втягивали, засасывали меня. Вдруг я увидел летающего вокруг меня Джека, овчарку, которой прежде никогда не видел.

— Джек, Джек! — позвал я его, и он в ответ мне заулыбался, высунул язык и замахал хвостом.

Потом мама окликнула меня и нашей колхозной фельдшерице из профилактория сказала:

— Он бредит.

Но я не бредил. Я вступал в разговор с видениями, которых не видели ни мама, ни фельдшерица, ни наши соседи, приходившие справиться обо мне, и потому всем казалось, что я брежу. Нет-нет, я не бредил и понимал, что не брежу, я находился сразу в двух измерениях: здесь, с мамой, и там, с ними, ви-

дениями, такими же реальными, из плоти и крови, как и я сам. Более того, так же, как и я, а вернее, лучше меня люди-видения видели и маму, и фельдшерицу, и всех соседей, приходивших к нам, потому что именно они подсказывали, кто подходил к моему изголовью, так что я, не поворачивая головы, точно угадывал подходивших.

Запомнились люди между матицами, поддерживающими потолок, и в зеркале. Они были очень красивыми, в лёгких белых одеждах. Я принял их за врачей. В центре была женщина — такая красивая, что я не мог оторвать взгляда. Её лицо — лицо Розочки в высшую минуту вдохновения. Собственно, красота исходила не только от лица — от всей её сущности.

Она протянула руки к маленькому мальчику, лежащему на кровати:

— Так вот ты какой большой?

В ответ всё во мне затрепетало, я услышал лёгкие переборы гармошки и почувствовал, что я и есть этот маленький мальчик.

— Какая ты красивая, — сказал я и что было силы ухватился за её халат.

Люди вокруг неё заулыбались — я испытал ни с чем не сравнимое чувство своей безопасности.

— Слышишь, мама пришла, а с нею врач, давайка отзовись, — сказала она и осенила мне лоб каким-то воздушным прикосновением.

Я во все глаза смотрел на неё, но маленького мальчика не было: ни на руках, ни на кровати, да и самой кровати не было. Она держала в руках красную розу, ту самую, что я хотел сорвать в палисадничке возле беленького домика.

— Отзовись, — повторила она и поманила из своего окружения витязя. Он был одет в какую-то чешуйчатую одежду, поверх которой с левого плеча ниспадал на руку маскхалат защитного цвета. Если бы не копьё в руке, ни за что не признал бы в нём витязя (дядька-партизан времён Великой Отечественной).

В общем, витязь мне не понравился: тёмные усы, русая борода, копна волос с пробором посередине, но самое неприятное, что сразу почувствовал, — он имеет прямое отношение ко мне (у него в волосах я заметил красные лепестки розы).

Красивая женщина повернулась к нему, и в ту же секунду я услышал в дверях в комнату звяканье инструментов и мужской голос, утверждающий, что сейчас кризисная ситуация: или — или...

Мама, тихо причитая, подошла ко мне и, переодевая в сухую одежду, вдруг увидела в складках одеяла цветок красной розы.

— Как он сюда попал?! — удивилась мама и прислушалась. — И ещё — звуки гармошки!..

Она оглянулась на кадки с розами, словно от них ждала разъяснения. Но наши комнатные розы никогда не цвели зимой.

Я сказал маме, что этот цветок спарашютировал с потолка, что его подарила красивая-красивая тётя, а бородатый дядька, которого тётя называла моим ангелом-хранителем и витязем, — сердитый-сердитый, похожий на лётчика-головастика... Это он уронил цветок.

Я протянул руку, и мама отдала цветок. Я посмотрел на потолок, между матицами, и увидел, что красивая-красивая тётя и все-все люди, что были рядом с нею, сместились к стене над зеркалом, а в самом зеркале, точно портрет в огромной бронзовой раме, стоял мой ангел-хранитель. Он был похож на очень строгого русского князя, руки которого отдыхали на рукояти меча, всё ещё вынутого из ножен, но уже опущенного острием долу.

Я закрыл глаза и услышал сквозь всхлипы мамино причитание — она подумала, что я опять брежу. Я не бредил... Но чтобы не пугать её, уткнулся в цветок и тут же уснул, то есть как бы растаял в благоухании сада. Сколько спал, не знаю. Когда очнулся, всё так же лежал, уткнувшись в цветок, от которого всё так же веяло майским садом.

Я привстал. В окнах пылала такая необыкновенная заря, что подумалось: окна раскрыты настежь, и я в беленьком домике, и это из волшебного сада веет ароматом роз. И действительно, я вдруг увидел аккуратный беленький домик, дорожки, покрытые розовым гравием, низкий штакетник с ниспадающими на него кустами цветущих роз и услыхал приближающиеся лёгкие переборы гармошки.

Тысячелетие и миг.
Песчинка и планета.
Во всём проявлен Божий лик.
Во всём дыханье света.

Я оглянулся. Я предполагал, что увижу отца, но я увидел маму — она осторожно трясла меня за плечо:

— Митенька, сыночек, сейчас будем пирожки печь!..

Глава 49

Более трёх недель на восходе солнца, как бы по зову пастушьего рожка, собирались у нас на крыльце мужики (колхозная плотницкая бригада) и так же по рожку, на закате, расходились. Я решил поправить изгородь и перекрыть крышу и был у них и экспедитором, и прорабом, в общем, заказчиком. Они с удовольствием выезжали со мной в город на рынок стройматериалов, приценивались к кругляку, доскам, шиферу и гвоздям, а потом, на кровле, обсуждали увиденное. Им очень нравилось, что на все их советы я отвечал кошельком, то есть доставал деньги и сейчас же расплачивался за материалы.

Однажды Силантий Плотников, бригадир, замешкался с мужиками возле строганых брусков и досок. К ним подскочил то ли охранник, то ли смотритель кавказской национальности.

— Давайте, давайте, мужики!.. Туда вон, туда, — указал он на доски, бывшие в употреблении и, словно дрова, лежавшие неприбранной кучей. — Там, по вашим деньгам, будете искать, там, — сказал, точно огрел чем-то таким тяжелым, что мужики, пригнувшись, сразу и потекли к указанной куче.

Силантий тоже дёрнулся, но не пошел, задержался у штабелей — помыкают русским мужиком уже все кому не лень. Тут и я встрял, попросил Силантия подобрать брусков не менее чем на два куба.

Как горный орёл взмыл Силантий.

— Ну-к сюда, мужики, — строго окликнул и, видя, что те в нерешительности мнутся, подстегнул: — Идить, идить, у нас есть кому командовать, а некоторые (в упор посмотрел на кавказца) пусть у себя дома, над своими женами командуют, их у них много.

Охранник презрительно ухмыльнулся, но не ушёл, стал наблюдать, что дальше будет.

Теперь уже в упор на меня посмотрел Силантий:

— Дак два куба, Юрич?!

Он впервые назвал меня по отчеству (когда-то вместе с отцом они парубковали).

— Пожалуй, что двух маловато — два с половиной, — сказал я, и между нами словно электрическая искра проскочила, и сразу напряжение уравнялось, стало общим.

Мужики тоже враз взбодрились, повеселели, замеряя бруски, нужные откладывали в сторону с таким рвением, что, того и гляди, могли зацепить охранника. Он сплюнул под ноги и удалился. Тут уж и вовсе мужики разошлись, стали подшучивать над бригадиром.

— Юрич, однако поженим Силантия на твоей матке! Бобыль?! Пропьём их, а?.. Тогда не придётся тебе ехать за тыщи вёрст крышу латать, отчим побеспокоится... Да уж, знать, так! — весело шутили мужики, а Силантий отмалчивался. (Исподтишка взглядывал и молчал.) Подал голос, когда проскользнуло вот это вот «отчим побеспокоится».

— Ну хватит брехать и зубы скалить, — вдруг рассердился Силантий и под предлогом, что ещё надо отобрать листы шифера, ушёл в другой конец магазина.

Все три недели мне приходилось крутиться как белке... Матушке тоже доставалось, с утра до вечера хлопотала на кухне. Обед и ужин на нас, пятерых мужиков, ежедневно готовила. А тут ещё председатель колхоза с членами правления наведывался, знакомые заглядывали, и всех надо было ублажить: и чайком, и лишней минуткой. Хорошо, что соседка, Клеопатра Евлампиевна, на помощь пришла, а то бы точно не управилась с таким наплывом, как говаривал председатель, неучтённых ртов.

Впрочем, несмотря на колготу с утра до вечера, матушка как будто даже помолодела. Весёлый перестук топоров и молотков во дворе, говор, смех — всё это завораживало, притягивало, делало её жизнь насыщенной и необходимой. Она как будто купалась в этой необходимости. Особенно когда поднималась наверх, на потолочное перекрытие, и прямо на кровле обходила всех, угощая квасом.

Силантий, подавив смущение, опорожнял стакан и как-то чересчур поспешно хватался за топор, продолжал обтёсывать кругляк. Мужики перемигивались, а мама невидяще смотрела вдаль с какой-то полузабытой усмешкой, обращённой вовнутрь. Потом спохватывалась: стою, а дел сколь?!

Силантий опять отрывался от топора:

— Евдокия, осторожней! — И заботливым взглядом провожал её, пока она спускалась на землю.

Не знаю почему, но этот заботливый взгляд Силантия раздражал меня, вызывал какое-то внутреннее ожесточение. Я не мог совладать с собой, уходил за плетень, на бруски, которые уже облюбовала местная молодежь, приезжавшая из города на выходные.

В одну из таких минут я встретил на брусках однокашника. Стали перебирать, где кто. Более всех меня интересовал Валерий Губкин, школьной поэт, вундеркинд, впоследствии студент факультета журналистики ДВГУ. Оказалось, что однокашник месяца два назад видел Валерия — он уезжал волонтёром на Балканы. Говорил, что потерял вкус к жизни, что его жизнь, словно жизнь Вронского из «Анны Карениной», не стоит ничего и он только рад будет отдать её в пользу малочисленных, но гордых сербов.

Чувствовалось, что однокашник осуждает Губкина, считает его суперменом чисто российского толка, то есть не ведающим, что творит. А я сразу обрадовался за Валерия, у меня словно пелена с глаз упала.

— А знаешь, — сказал я однокашнику, — меня призывают в армию, и я тоже еду добровольцем на Балканы. И тоже буду воевать на стороне сербов, но об этом прошу не распространяться. Мы, волонтёры, в райвоенкоматах подписываем специальную бумагу о неразглашении... — соврал я и, кажется, быстрее однокашника поверил в свою наглую ложь. Во всяком случае, когда с ремонтом избы и изгороди было покончено и во дворе расставили столы с угощением, чтобы отметить это событие, я нисколько не удивился, когда первый тост был поднят за меня как будущего воина, солдата-интернационалиста.

Мама всхлипнула, поднесла фартук к глазам, и сразу встал Силантий, положил руку на её плечо и как бы от имени всех сказал:

— Только там зазря свою голову не подставляй, не лезь на рожон, но службу сполняй исправно, — помолчал и как бы подытожил: — А мы тут все сообща будем ждать тебя — храни тебя ангел твой. (И уже — всем.) Сегодня как раз день его ангела-хранителя.

Все не все, а они с матушкой точно будут ждать, как-то очень остро почувствовал я и в порыве сыновней благодарности расцеловал их и заверил, что так и будет — на рожон не полезу и в свой срок вернусь. Тогда-то мы все сообща, как сейчас, не крышу будем перекрывать, а поставим новый дом.

Гулянка оживилась, повеселела, круто пошла в гору.

Почему согласился с Силантием? Почему сказал о новом доме? Только ли, что пересилил в себе ожесточение?! Нет. Нет. И нет. Потому что никакого ожесточения не было. Да-да, не было. Оно растаяло во мне навсегда в ту самую минуту, когда узнал, что Валерий Губкин уехал волонтёром на Балканы. В эту минуту я всем существом своим ощутил, что только там смогу преобразиться для новой жизни — или не смогу, но приобрету нечто более важное, чем теперешняя жизнь. И если маму я расцеловал по причине предстоящего расставания, то Силантия — что превратил это расставание в мои именины. То есть, сам того не ведая, не только объяснил мне мой путь, но и благословил его. Ведь это же благодаря тосту в честь ангела-хранителя вдруг просверком вспомнился повторившийся сон о красивой-красивой тёте и сердитом-сердитом витязе, из рук которых я получил цветок-символ, а в реальной жизни — свою ненаглядную Розу. Мой витязь, угодниче Божий Димитрий, руки которого отдыхали на рукояти меча, — это же мне и обо мне привиделось в день моего приезда. И какое уж тут ожесточение?! Оно прошло, растаяло.

Я приехал домой подавленным, а уезжал в приподнятом настроении. Я обрёл надежду.

В ночь на второе июня я был в Москве, а утром второго уже стучал в дверь администрации ресторана «Нечаянная радость». Вышел Двуносый со товарищи — обнялись, похлопали друг друга по плечам.

— Прими наше искреннее сочувствие по поводу утраты жены, — преувеличенно скорбно произнёс Феофилактович. (В устах трижды разведённого сочувствие воспринималось тонкой иронией и даже издевкой.)

— Ладно, ладно, — сказал я, чтобы соблюсти приличествующую случаю формальность, и тут же перевел разговор: — Однако как быстро сработала почта?!

Феофилактович объяснил, что почта здесь ни при чём, по просьбе Лимоныча «таксистом по лицензии» был у меня сотрудник местного МВД.

— Чего же он всё опасался, что я сбегу и не выплачу обещанного гонорара?

— Такой приказ получил, чтобы ты не заподозрил, — сказал Феофилактович, и все вместе с ним засмеялись, дескать, вот как плотно у нас всё схвачено.

— Так вы что же... и на Алтае меня пасли? — раздражённо спросил я.

— Нет-нет, мы и не знали, что ты на Алтае! Лимоныч предположил, что ты поехал домой, к матушке, а откуда ты родом?! Может, из Манчестер Сити?

Почему он сказал о Манчестер Сити?! Необъяснимо. Но раздражение сразу прошло.

Феофилактович демонстративно подошел к письменному столу, выдвинул ящик.

— Вот заявление... уже хотели подавать в розыск.

Заявление было написано красивым женским почерком на листке из ученической тетради.

— Так и есть... ещё и посторонних людей подставляете.

— Никаких не посторонних, — подал голос Тутатхамон. — Моя сама по своему желанию написала, а я принёс...

— А-а, дак ты не знаешь?! — восхитился Двуносый. (Он как-то враз перестал походить на Феофилактовича: тот же костюм, тот же галстук, а солидности — никакой.) — Помнишь вахтёршу Алину Спиридоновну? Они расписались, теперь Тутатхамон у нас женатый человек. Мы уже и свадьбу сыграли, с презентацией ресторана совместили, народу было... весь цвет (поправился), весь бомонд города!

Представив, как Аля и Тутик (не может же она называть его Тутатхамонище) обсуждают мое исчезновение, я только и нашёлся что сказать:

— Поздравляю, не ожидал, даже не верится!..

Однако моё поздравление не обрадовало бывшего сантехника, загундосил, мол, а что тут такого — не ожидал, подумаешь... Чтоб не начинать с ним свары, я попросил Двуносого показать ресторан.

Ресторан, конечно, был роскошным: от гардероба и туалетов до залов для посетителей и кухни — евроремонт. Изящество обоев и зеркал, кресел и столов, бра и подсветок не вызывало сомнений.

— А как же зал Поэзии или кают-компания данного судна? — сказал я, глядя вниз, с антресолей, на алмазно сияющую чашу люстры.

В мгновение ока Двуносый опять стал Алексеем Феофилактовичем. (Остановился, застегнул костюм, поправил галстук и решительно шагнул в глубину холла, к бордовой бархатной портьере, закрывающей торцовую стену возле подиума для оркестра.) Он нажал какую-то кнопку, бархат легко сдуло в сторону, и на стеклянных дверях я увидел хорошо известное мне изображение чайного клипера «Катти Сарк» в русском исполнении, то есть — словно гриновский «Секрет», летящий на алых парусах.

Конечно, в сравнении с залом внизу и на антресолях кают-компания была небольшой, человек на тридцать. Зато и уютней. Над каждым столиком — как бы отдельный лепной потолок в виде импозантного зонтика. Впрочем, какая-то сила точно магнитом притягивала меня, не давала сосредоточиться и осмотреться.

Я поднял глаза. В центре зала, как раз над сценой, висел портрет, а чуть в стороне стоял белый, строго-элегантный рояль. Внутри всё сжалось... Да-да, это был портрет Розочки, Розы Фёдоровны — она едва-едва улыбалась, а взгляд, проницая меня, скользил дальше. Безусловно, художник (цыплёнок с гривой льва) был талантливейшим живописцем: он запечатлел Розочку в платье в золотой горошек и белых туфельках, которые она ни разу не надевала. Но более всего поражали глаза, живые, полные невысказанной тайны, то есть того, чему нет слов. Ладно — платье в золотой горошек, ладно — белые туфли, ладно — глаза и проницающий взгляд, но отражение красного бархата, превращённое в радугу, показалось мне сверхчеловеческим прозрением художника. Кажется, это был тот случай, когда тайна, отнятая у жизни, в полной мере являлась и тайной искусства. В одну минуту я испытал и радость встречи с Розочкой, и горечь нового расставания с нею. Я стоял и не мог пошевелиться: невыплаканные слёзы душили меня.

Глава 50

Моё решение принять участие в войне на Балканах, может быть, кого-нибудь и удивило, но не огорчило. Десятого июня было сорок дней Розе Фёдоровне, мы помянули её в тесном кругу в кают-компании, и после этого меня уже ничто не удерживало в России. На патриотических встречах закрытого характера, которые организовывали через подставных лиц Двуносый и Толя Крез, я и ещё несколько романтиков криминального толка (дебилы призывного возраста, которые в своей жизни не видели ничего, кроме исправительных колоний) преподносились окружающим как патриоты самой высокой пробы. Наверное, организаторы этих закрытых шоу в какой-то мере верили в наш панславянский патриотизм, но я-то не верил. Подобно Валерию Губкину, сравнивавшему себя с Вронским из «Анны Карениной», я потерял вкус к жизни и ехал на Балканы с одной надеждой — моя жизнь и смерть действительно кому-то могут пригодиться. Что касается моих подопечных (очевидно, как старшего по возрасту, меня избрали и старшим группы), то они вообще не имели никакого представления о патриотизме. В силу своих куриных мозгов каждый из них ехал на Балканы за боевым крещением, после которого все они надеялись вернуться к своим браткам более крутыми, а стало быть, более авторитетными. О том, что каждый из них мог не вернуться, погибнуть, им и в голову не приходило. Наверное, поэтому они так живо радовались подаркам, которыми их одаривали на встречах, и даже ревновали, у кого безделушка ярче. Единственное, ради чего можно было задержаться с отъездом, — так называемый третейский суд, устроенный Филимоном Пуплиевичем (Лимонычем).

Пятнадцатого июня в десять часов утра (только что пришёл из церкви Бориса и Глеба) позвонил Алексей Феофилактович и с редким почтением в голосе попросил прийти на рабочее место, и обязательно в белых носках.

Заинтригованный, не заставил себя ждать, и первым, кого встретил на крыльце, был Филимон Пуплиевич.

— Давай, давай, Митя (поправился), Дмитрий Юрьевич, пойдём, — сказал озабоченно и, пока шли в отдельный кабинет, поведал, что предстоит провести внеочередное заседание третейского суда. — Общество собралось... Сам увидишь... Смотри, чтобы ни у кого фотоаппаратов и кинокамер не было, для этой цели художник есть, а остальное решай, как бог на душу положит, всё равно никто ничего не знает, традиция совершенно новая, неустоявшаяся, — заверил Филимон Пуплиевич и достал из платяного шкафа тёмно-бордовую мантию и головной убор (что-то наподобие фески без кисточки).

Мантия была достаточно просторной и удобной. Я облачился в неё, словно в крылатку, во всяком случае, почувствовал себя в ней достаточно уверенно и уютно. Про феску как-то сразу забыл — надел и забыл.

Филимон Пуплиевич внимательно оглядел меня со всех сторон, остался доволен. Вручил папку: пора!..

На антресолях к нам присоединился Алексей Феофилактович со товарищи. И тоже все в мантиях, но без фесок. Судя по тому, что у дверей в кают-компанию Тутатхамон опередил меня, распахнул створчатые двери и крикнул во всё своё лужёное горло: «Встать, третейский суд идёт!» — совершенно новая неустоявшаяся традиция многократно репетировалась. Не знаю почему, но вот это «Встать, третейский суд идет!» едва не вызвало у меня приступ гомерического смеха. Особенно — третейский!.. В самом деле, я, Двуносый со товарищи если и могли быть судьями, то никак не простыми. В этом зычном крике Тутатхамона было какое-то сверхпародийное и в то же время сверхточное попадание в происходящее. Мы — третейцы или мардонайцы, какая разница, если там, на небе, мы уже переименованы, вспомнил я бригадира овощеводов Огородникова и тут же позабыл и о нём, и о своём желании смеяться.

Зал кают-компании был переполнен, вместо столиков повсюду стояли стулья, но мест не хватало, в проходах теснился народ, как на подбор живописный, некоторые — в белых носках.

Шествуя к сцене, увидел своих подопечных, так называемых романтиков, один из них, глумливо лыбясь, потянулся похлопать меня по плечу и тут же ударом в ухо был опрокинут на пол.

— Третейского судьи не касаться! — приказным тоном прокричал Тутатхамон.

Многие из толпившихся в проходе сразу же уважительно посторонились. Никто не выразил неудовольствия рукоприкладством, даже на лице «романтика» теперь прочитывалось какое-то сложное выражение и изумления, и восхищения одновременно.

Наше явление — в мантиях, строгая субординация, беспрекословность — напомнило Политбюро несуществующего СССР, так сказать, иерархию затонувшей Атлантиды. Невидимые взору простого смертного верховные жрецы — Филимон Пуплиевич и иже с ним, сидящие в зале кают-компании. И мы — архонты, цари наследуемых земель, на глазах у всех как будто вершим людские судьбы, но лишь настолько, насколько это выгодно жрецам.

Как старший из архонтов, я сел за стол в центре сцены, другие столы предназначались для моей свиты, они стояли по бокам — и чуть сзади.

Тутатхамон ударил в гонг — приказал всем сесть, чем вызвал у присутствующих лёгкий смешок. Затем, опять же по гонгу, с кратким словом выступил Алексей Феофилактович, объяснил, что третейский суд — самый справедливый в мире суд потому, что избирается заинтересованными сторонами.

— Так что, перефразируя известные слова, можно смело сказать, что данный суд во всех отношениях суд нашенский! — с пафосом закончил он.

Потом Алексей Феофилактович стал зачитывать «дела», самую их суть. После чего клал папку с «делом» передо мной, а на подиум, в сопровождении четырех братков (явно из конторы Толи Креза), поднимались жаждущие справедливости. Некоторые из них иногда вносили в «дело» новые подробности. Я внимательно выслушивал подсудимых и, объявив решение, стучал деревянным молотком, похожим на плотницкую киянку, по папке с «делом», и «дело» считалось закрытым, не подлежащим пересмотру.

«Дела» были в основном одного сюжета — кто-то брал у кого-то что-то, а потом либо не возвращал, либо возвращал, не учитывая ранее оговорённых условий.

Мои решения оказывались безошибочными, так как я исходил из всеми признанного постулата: договор дороже денег. Однако и деньги имели существенное значение. Зал замирал, когда в основе конфликта фигурировала сумма в тысячи баксов или какая-нибудь дорогостоящая иномарка. И совсем иначе реагировал, когда в основе того же примитивного сюжета лежала базарная мелочь. Именно с такой мелочью обратились в третейский суд Бобчинский и Добчинский (так я прозвал для себя этих ничтожных людишек). Боже! Сколько новых подробностей они привнесли в своё «дело», не стоящее и выеденного яйца. Конечно, я их выслушал (и того и другого), а потом с такой силой обрушил молоток на пухлую папку, что она прямо-таки взорвалась столбом пыли. Зал дружно и громко засмеялся. Но Бобчинский и Добчинский не поняли, что их «дело» закрыто, и стали домогаться моего устного решения. Вместо ответа я ещё раз обрушил киянку. Братки, уловив негодование, пинками выдворили со сцены и Бобчинского, и Добчинского — это был цирк! Но так обрела жизнь ещё одна деталь ритуального действа — на всякую глупость третейский суд должен отвечать не глубокомыслием, а молотком и сосредоточенно-молчаливыми пинками под зад.

Сюжетное однообразие «дел» позволяло отвлекаться, наблюдать за публикой в зале. Мое внимание привлекли художник (цыплёнок с гривой льва) и журналист (в недавнем прошлом главный редактор «Н... комсомольца», а ныне — «Н... ведомостей»).

Главный редактор выглядел весьма респектабельно: в смокинге, белой сорочке, бабочке и, естественно, в белых носках. Он сидел на галерке в окружении таких же, как и он, одетых с иголочки молодых людей и в непосредственной близости от Филимона Пуплиевича. Да-да, в такой близости, что казалось — начальник железнодорожной милиции тоже из его окружения (кстати, на Филимоне Пуплиевиче были и смокинг, и бабочка, и белые носки). Впрочем, я вдруг почувствовал, что меня это не волнует. Во всяком случае, гораздо меньше, чем можно было ожидать.

Зато гривастый цыплёнок буквально будоражил мое любопытство. В отличие от редактора, он был одет без претензий — в тенниску чёрного цвета и серый вязаный жилет. Сидел в первом ряду, чуть на отшибе, один, и не праздно шушукался, а полностью был погружён в свою работу. При всей своей занятости я нет-нет и взглядывал на него и всякий раз наталкивался на его проницательный взгляд. Сложилось впечатление, что он делает эскизные зарисовки, может быть, и о суде (о чём предупредил Филимон Пуплиевич), но ещё и лично обо мне. Разумеется, после гениального портрета Розы Фёдоровны это не могло не волновать меня. И я решил, что по окончании суда во что бы то ни стало посмотрю его наброски, а если он воспротивится, употреблю авторитет третейского судьи.

А между тем настало время последнему «делу», оно называлось — «Об изумруде».

Некий мистер Икс где-то в Манчестер Сити с помощью ловкости рук приобрёл у неизвестного ан-

глийского лорда необычайной величины и красоты смарагд стоимостью в сто тысяч долларов.

(Его положили передо мной в раскрытой шкатулке. Он лежал на шоколадном бархате, словно пасхальное яичко, и вместе с ложем напоминал овальную чашу Лужников со светящейся травяной зеленью футбольного поля. Так что, когда я назвал его «стотысячником» — имелись в виду не деньги.) Но — по порядку.

Итак, мистер Икс привёз смарагд в наш город и с несвойственной ему беспечностью показал его мистеру Игреку, который с помощью ещё большей ловкости рук, чем у мистера Икса, овладел драгоценным камнем.

Утратив изумруд, мистер Икс не только не подозревал в хищении мистера Игрека, но даже и думать не думал, что подобное может иметь место. (Обычно люди, наделённые властью, используют иные способы.) Но факт остаётся фактом.

Во время длительной командировки мистера Игрека в другую страну у него дома случился пожар. Фамильные ценности и украшения были спасены, но, чтобы в точности оценить ювелирные изделия и камни, был приглашён непревзойдённый эксперт в данной области. Им оказался мистер Икс. Разумеется, он узнал смарагд, но забрать его не мог, смарагд уже был включён в реестр семейных драгоценностей мистера Игрека. Мистеру Иксу ничего не оставалось, и он обратился к нам, в третейский суд. Мистер Игрек принял вызов. Тем не менее ни один из ответчиков в зал заседания суда не явился, а их представители в ответ на предложение председателя третейского суда дополнить суть «дела» новыми подробностями отмолчались, чем предоставили ему право на основании вышеизложенной сути «дела» решить судьбу заинтересованных сторон, а точнее, судьбу камня.

Я встал, чтобы объявить своё решение, и почувствовал небывалое напряжение в зале. Я чувствовал упругость тишины, как чувствует лучник натянутую тетиву лука. Любое моё слово могло быть разящей стрелой и для мистера Икса, и для мистера Игрека, и для меня самого. Да-да, более всех оно могло поразить меня!..

И тогда я взял в руки шкатулку и поднял её так, чтобы все увидели изумруд. Особенно мне хотелось, чтобы его увидел художник. Почему? Не знаю. То есть знаю, мне хотелось, чтобы он запечатлел смарагд. Для чего? Не ведаю, то есть мной владело вполне осознанное чувство, что действительно красотой, если она будет принадлежать всем, спасётся мир.

И художник увидел, впервые я не натолкнулся на его взгляд — карандаш мелькал, а весь он пел песнь изумруду.

И тогда я сказал:

— Сейчас я мог бы отдать этот драгоценный камень (ещё раз окинул его взглядом), этот «стотысячник», мистеру Игреку, но не отдам. (Кажется, половина зала облегченно вздохнула.) Мистер Икс убедил всех нас, и меня в том числе, что этот камень не принадлежит мистеру Игреку. (Облегченно вздохнувшая половина зала разразилась аплодисментами.)

Сейчас я мог бы отдать этот изумруд основному виновнику дела «Об изумруде» мистеру Иксу, но не отдам. (И опять облегчённый вздох другой половины зала.) Мистер Икс уже давно убедил всех нас, что этот изумруд принадлежит не ему, а лорду из Манчестер Сити! (И снова аплодисменты только что вздохнувшей стороны.)

Сейчас я мог бы отдать этот смарагд, этот «стотысячник», истинному владельцу, но не отдам, потому что это невозможно сделать.

Отныне этот изумруд принадлежит... (Я с трудом опять поднял шкатулку с камнем — тишина в зале загустела, как студень, не пошевелиться, всех и вся охватила её набухшая тяжесть.) Отныне этот изумруд принадлежит (повторил я, чтобы набраться сил для преодоления этой всё подминающей под себя тишины, и с силой выдохнул) всему обществу!

Мёртвую тишину разорвали какой-то чересчур писклявый, не соответствующий серьёзности минуты возглас «Браво!» и горячие, но совершенно одинокие аплодисменты художника.

— Так, стало быть, «общаку»?! — громогласно изумился Тутатхамон, довольно долго не подававший голоса.

Я закрыл шкатулку и ударил молотком по столу — быть по сему! И сразу зал словно очнулся, многие ринулись к выходу, а некоторые к сцене — сопровождать шкатулку с изумрудом, которую уносил Толя Крез вместе со своими братками.

— Неправильное решение, «стотысячник» должен принадлежать мистеру Игреку! — крикнул с зашумевшей галёрки главный редактор и, как будто что-то вспомнив, ухмыльнулся.

Его окружение зааплодировало реплике, а один из чёрных костюмов, выходя из зала, во всеуслышание сказал:

— Председателя суда надо «убирать з места».

Многие, оглядываясь, засмеялись. Неожиданно я натолкнулся на вопрошающий взгляд Филимона Пуплиевича. (Он, словно швейцар, поддерживал дверь перед выходившим из кают-компании главным редактором.) В ответ я равнодушно пожал плечами.

А ещё через несколько минут мы вместе с художником уже сидели в отдельном кабинете. На все мои просьбы показать эскизы он отвечал отказом — незаконченные вещи не показывают. Я уже было хотел воспользоваться авторитетом судьи, но тут зазвонил мобильный телефон.

Звонил незнакомец якобы от имени Филимона Пуплиевича. (Трудно объяснить почему, но я сразу

поверил, что он говорит правду.) Незнакомец поинтересовался, когда самолёт на Москву и когда на Будапешт. Я промолчал. Тогда незнакомец усмехнулся и спросил, какие просьбы будут, дескать, не на свадьбу уезжаю, всё может случиться. Я поблагодарил за заботу и сказал, что прошу всю выручку из зала Поэзии, то есть кают-компании, перечислять, в общем, как-то отдавать вдовам и сиротам. Незнакомец опять усмехнулся, мол, хорошо, всё так и будет, но как же с последней, личной, просьбой?.. И меня осенило, я сказал, невольно чеканя каждое слово:

— Прошу портрет моей жены повесить на прежнее место, а когда это случится (я сделал внушительную паузу), прошу рядом с ним повесить мой портрет кисти того же художника.

Гривастый цыплёнок вдруг рассердился, крикливо заявил, что не успеет так быстро написать мой портрет.

— Передайте ему, что времени хватит, — сказал незнакомец и с нескрываемым удивлением поинтересовался: — И это всё?! А вы мужественный человек...

Я не дослушал его... я нажал кнопку отключения с такой твёрдостью, словно нажимал не кнопку, а ставил точку в романе, который заново уже не переписать.

А ещё через минуту я расстался с художником — мне расхотелось смотреть эскизы. Я предложил ему денег, так сказать, в счет нового портрета. Он обиделся, заметив, что и так слишком много получил за тот, предыдущий портрет. И уже с порога крикнул, что напишет меня бесплатно. Дал бы Бог написать.

Да, дал бы Бог...

Вместо эпилога
ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Недавно в городе Н... на Волхове, в ресторане «Нечаянная радость», в зальчике на антресолях рядом с портретом девушки «У белого рояля» вывесили портрет юноши с чистым ангельским взором и лепестками роз в волосах. Юноша одет в кольчугу и похож на витязя.

Во всяком случае, руки его отдыхают на рукояти меча, обращённого острием долу. Но это — когда присмотришься, а с первого взгляда кажется, что он держит в правой руке необычайной красоты смарагд, лучащийся, как пасхальное яичко. Иллюзия эта возникает оттого, что смарагд вделан в самую оконечность рукояти.

Глядя на портрет, одни утверждают, что изумруды всегда приносят своим владельцам слёзы, а другие — что счастье. И только в одном все непременно сходятся: изображенные девушка и юноша — счастливцы.

2000 г.

В СУМЕРКАХ ОТМИРАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Русская литература, благодаря вновь обретённой с началом перестройки свободе, пополняется ежегодно значительным количеством произведений. Прирост свидетельствует о том, что общество очертя голову кинулось в объятия рыночных отношений, которые, задавая основное направление процессу, тем не менее создают и возможность для самореализации, столь длительное время задавленной всемогуществом государства и партократии. Роман Виктора Слипенчука «Зинзивер», напечатанный в Москве в издательстве «Советский писатель» в 2000 году и переизданный в 2001 году в издательстве «Вагриус», заслуживает особого места в литературном потоке последних лет, поскольку он возвращает нас в прошлое, в те времена, когда всё было возможно, когда мы жили на стыке времён. В сумерках отмирающей системы нарождалось новое время, в послевкусии упадка возникал дух предприимчивости, бесцеремонная и побеждающая энергия финансовых авантюристов и коммерции, сказать попросту — спекулянтов, чей весёлый цинизм людей, сознающих, что им нечего терять, позволял ради выигрыша «выплеснуть вместе с водой ребёнка» и заявить, что после них хоть потоп. Роман, написанный, вероятно, из чистого удовольствия, чтобы дать волю фантазии и воображению, является прежде всего ценным свидетельством переходного периода между старой ценовой Россией. Он служит свидетельством эпохи, в основном благодаря манере написания и образу мышления, а не только содержащейся в нём информации об образе жизни. Этот образ жизни одновременно кардинально изменился, и в то же время несёт на себе всё ещё глубокий отпечаток ностальгических воспоминаний и мучительных вопросов, на которые так и не были получены ответы. Редко можно встретить подобное совпадение формы и содержания, и это взаимопроникновение рождается в результате раскрепощения и индивидуализации литературного

творчества, наконец-то высвободившегося от идеологического хомута и концептуальных оков, которые держали его в заточении.

Наконец-то литература смогла вырваться на свободу, она получила возможность не следовать замшелым догмам, не переживать о политических, социальных и моральных ограничениях, тяжко давивших на сознание «гомо совьетикус» и кастрировавших полёт его фантазии.

Тем не менее недавняя ещё история преподаёт нам урок — опасность, которую скрывает чувство освобождения, эйфория вырвавшегося на простор человека, возникшие после падения преград, всех преград, волнующее ощущение «непаханого поля», раскинувшегося в ожидании посевов. Нужно отдавать себе отчёт в том, что развал Советского Союза означал не только разрыв с семьюдесятью тремя годами большевизма, но и со всей российской историей.

Владимир Дмитриевич, владелец издательства L'Age d'homme, со всей присущей ему врождённой проницательностью предугадал это чувство. Теперь я понимаю, почему он так настаивал на том, чтобы перевод был поручен именно мне, — он предполагал, что мой опыт и знание Советской России помогут преодолеть трудности перевода, которые составляли основное обаяние этого текста, но при этом делали его чрезвычайно сложным для «переложения» на другой язык, в другой контекст, встречавшиеся в книге идиомы не поддавались никакой интерпретации, им невозможно было найти аналог не только в другой культуре, другом обществе, но также и в культуре и обществе уже сегодняшней России, после всех перемен, которые произошли в стране в течение последних двадцати лет, отделяющих её от советского прошлого.

Один мой друг моих лет, из поколения Виктора Слипенчука, сказал мне однажды, что он чувствовал себя иностранцем в собственной стране, что он не узнавал привычное окружение, не ощущал себя живущим в своём доме, на своей улице, в своём городе, этакая вечная эмиграция.

Большой заслугой Виктора Слипенчука является та уникальная работа, которую он проделал в романе, — он сохранил память последних свидетелей великой и трагической истории, запахи, вкусы, загадки, нелепости (то, что называется «дикость», абсурд), фразы, стереотипы, обычаи, правила приличия, особые черты искалеченной жизни, которая в глубокой неустроенности, заточении, тупом однообразии предопределённого раз и навсегда пути находила тем не менее источники поэтического вдохновения и радости.

Богатый опыт, пережитые приключения, образование, ум, чувство юмора Виктора Слипенчука принадлежат не только советской культуре, в которую он помещает главного героя романа Дмитрия Слёзкина. После развала СССР Россия вступила в период дикого капитализма, и здесь взгляд главного героя особенно интересен, так как автор недвусмысленно отстраняется от соцреализма и наделяет его подлинными индивидуальными чертами, без сомнения взятыми из собственной жизненной истории.

Как и Слёзкин, Виктор Слипенчук родом из села, родился в селе Черниговка Приморского края (200 километров от Владивостока)! Более двадцати лет прожил в Алтайском крае — на юго-западе Сибири. Как и Митя Слёзкин, он рано стал поэтом и в четырнадцать лет уже опубликовал первые стихи в местной газете «Черниговский колхозник». Трудовой путь его начался с двенадцати лет, вначале в колхозе, а позже в геологоразведке и на Алтайском тракторном заводе. Затем автор поступил в Омский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1964 году. В то время ему было двадцать три года, на один год меньше, чем рассказчику «Зинзивера» в момент, когда тот решается записать свою историю.

И всё же «Зинзивер» — это не автобиографический роман, это полностью самостоятельная история, которая объединяет наиболее яркие черты советской действительности с воображаемым миром, придуманным его героем Митей для того, чтобы сбежать от реальности. Переход от повседневной жизни с её пошлостью и вульгарностью к сияющей мечте фантастической страны порождает смешанную атмосферу восторга и гротеска, в которой свободно перемещаются те, кто привык жить с иллюзией Великой Утопии. Поэтому поэзия стала прибежищем, в котором взаимодействуют иллюзорное и реальное, где иллюзорное становится залогом реального, что вполне соответствует месту, занимаемому поэзией в сознании русских от века. Это культурное и историческое постоянство делает вторичными новшества, привносимые революцией, и тесно связывает советский опыт с русской традицией.

Впрочем, именно эту традицию Виктор Слипенчук через образ Мити вновь обретает в глубинных пластах сознания, под налётом форм, обычаев, привычек, якобы революционных нравов, которые на данном этапе истории, этапе «перестройки», начинают разрушаться, чтобы уступить место новому «быту», новому образу жизни.

Для Мити рыцарское поклонение любимой женщине неразрывно связано с поэтическим творчеством, и в ткань его отношений с Розочкой вплетаются все штампы куртуазной любви, делая девушку одновременно мистическим воплощением Прекрасной Дамы, воспеваемой средневековыми трубадурами

и современными романтическими бардами. Контраст между этим обожанием и окружающей «пошлостью» соответствует присущему советской идеологии несоответствию мыслей поступкам, благородных стремлений — унылой действительности, диалектике без составных частей, проблеме без решения, это иллюзорный механизм, крутящийся сам по себе и создающий лишь пустоту.

Поэзия в романе является точкой, в которой пересекаются эти взаимоисключающие друг друга миры, и стихи становятся для героя способом достижения социального и материального успеха. Автор создаёт ироничный оксюморон, объединяя несовместимые грани русской ментальности, «русской души». Он предчувствует момент исторического переворота, когда крах бывших предрассудков и древних норм ускорил падение «птицы-тройки» в бездну. И это падение является не только крахом обессилевшей тоталитарной системы, которая рушится внутри себя самой, это крах самой России, в той мере, в какой советский период не был эпизодом, который можно быстро забыть, случайной ошибкой, а был закономерным продолжением истории страны, оплотом отчаянного сопротивления, последней битвой чести архаической Руси против современного мира. Митя — Янус Бифронс, он одновременно наследник и предтеча, одна его нога стоит в прошлом, другая в будущем, он соединяет в себе поэтический идеализм и любовный романтизм со спекулятивной жилкой и торгашеской оборотистостью. Другая характерная черта героя: он убеждён в том, что, что бы он ни делал, деньги сами потекут к нему в карманы и создадут ему добродетельный облик и хорошую жизнь. Автор отправляет героя перегонять из Германии подержанные автомобили — способ быстрого обогащения будущих олигархов тех лет.

Можно предположить, что автор прочитал Макса Вебера, но, скорее всего, его провиденциализм уходит корнями в русские народные поверья и легенды. Ономастические теории второстепенных персонажей, населяющих роман, проясняют задумку автора. Некто Огородников, чья фамилия происходит от слова «огород», человек, выращивающий своё состояние, убеждённо говорит о том, что судьба наша предопределена фамилиями и именами, которые мы носим. Он утверждает, что мать рассказчика была обречена плакать всю свою жизнь по мужу и сыну, так как её фамилия была Слёзкина, а он сам, Огородников, совершенно напрасно пытался восстать против призвания, определённого его фамилией, и хотел стать плотником, но был выведен на прямую дорогу и стал «огородником», в соответствии со своей фамилией, героиня по имени Клеопатра притягивает змей и т.д.

Как и его герой Митя, Виктор Слипенчук — поэт. Удивительно, изучая его биографию, обнаруживаешь, что поэзия постоянно была главным центром притяжения его кочевой жизни, стержнем, сформировавшим его личность с помощью слов, того самого «глагола», который, как писал Мандельштам, всегда был единственной настоящей родиной русского человека.

В 1967 году он трудился зоотехником по овцеводству Рубцовского района на Алтае, а в 1966 году был участником Всероссийского совещания молодых писателей Урала и Сибири в городе Кемерово. (Семинар Я. В. Смелякова, великого поэта, дважды репрессированного — реабилитированного в 1956 году.) Ярослав Смеляков опубликовал стихи В. Слипенчука в еженедельнике «Литературная Россия» с хвалебным предисловием. С 1969 по 1971 год Виктор Слипенчук работал старшим редактором телевизионных программ «Земля Алтайская» и «Молодёжь Алтая» на Барнаульской студии телевидения.

Эта потребность в знаниях, желание испытать в жизни максимум возможного подталкивают Слипенчука к смене профессий, занятий, но не могут отменить его тягу к литературному творчеству, постоянная калейдоскопическая смена сфер деятельности только подпитывает его вдохновение, обогащает его лексикон, удовлетворяет страсть к языку.

Это семантическое изобилие возникает потом в «Зинзивере», в котором точная техническая терминология перемешивается с народными поговорками, пословицами; заговорив от имени рассказчика, автор наслаждается остротой слова, необычностью профессионального языка, который путём «отстранения» перекликается иногда со словом «заумь».

Это лингвистическое богатство свидетельствует, безусловно, о глубоко российских корнях Виктора Слипенчука, объединяющих две культуры, официальную культуру, изучаемую в школах, и народную. Этот аспект его творчества напоминает о Солженицыне, который, находясь в американской ссылке, занимался со своими детьми словообразованием русского языка.

Но Виктор Слипенчук прежде всего поэт, и не случайно он заимствовал название своей книги в поэзии Хлебникова, которая является классическим примером «словотворчества».

Впрочем, зинзивер — это не придуманное слово, а имя маленькой птички, которая обитает возле рек, её название не указано в словарях, оно скорее происходит из тайного источника, питающего язык и связывающего человека с природой.

Через тягу к словам, вышедшим из употребления, забытым носителям воспоминаний, выражается стремление к обретению самоидентичности страной, чьё общество растерянно и близится к краху, стра-

ной, потерявшей ориентиры и подвергающейся пагубному влиянию Запада, долголетней разлукой с которым она была защищена.

В рамках русской культуры лексика соединяет Слипенчука с поэтической традицией, скорее архаичной, впрочем, чем футуристской, загнанной в подполье, запрещённой в эпоху великой сталинской кастрации. Эта преданность языку напомнила мне борьбу, которую вёл Реми де Гурмон в своей книге «Красота французского языка», за возвращение народных выражений, против употребления учёных терминов в названиях растений и цветов.

С 1971 по 1974 год Виктор Слипенчук был рыбаком океанического лова. Работал матросом-обработчиком, тукомолом, матросом добычи, матросом-судоводителем и первым помощником капитана. Ходил по морям на больших морозильных рыболовных траулерах (БМРТ): «50 лет ВЛКСМ», «Надеждинск», на супербольшом морозильном траулере (СБМРТ) «Давыдов». А с 1974 по 1976 год он — инженер-рыбовод по разведению карпов и форели в водоёмах Алтайского края. С 1976 года работал плотником-бетонщиком на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Алтайского коксохимического завода и представлял на нём «Пост Писателя» от Алтайской писательской организации. Вскоре он бросает все виды рабочей деятельности и полностью посвящает себя литературе. С 1976 по 1983 год он трудится корреспондентом газеты «Молодёжь Алтая». В 1982 году он принят в Союз писателей СССР. Несмотря на официальное признание, продолжает учиться, познавать новое, постоянно стремится освоить «литературное ремесло». С 1983 по 1985 год он — слушатель Высших литературных курсов при Московском литературном институте. Затем, с 1985 по 1996 год, руководит литературным объединением «Родник» в газете «Новгородский комсомолец», Литфондом писателей Новгорода, становится бессменным главным редактором радиожурнала «Литературный Новгород», а также газеты «Вече», органа Союза писателей Новгорода.

Очевидно, что в распрях Мити с литературным кружком автор отразил в причудливой и комической манере свой собственный опыт. Эта смесь тонкой и язвительной иронии, наивного цинизма и скрытой ностальгии по советскому прошлому придаёт роману особую остроту, которая резко отличается, надо отметить, от той «чернухи», погружения во мрак, к которой нас приучили современные российские романы и фильмы.

Скорее всего, в этом новом литературном стиле проглядывает запоздалая реакция на блаженный оптимизм социалистического реализма, слишком долго подавлявшееся желание наконец сказать правду, не скрывая негативных сторон действительности. Но удивительно, что эта волна самодискредитации не сопровождается истинными размышлениями о «Чёрной России», как в своё время, в другом контексте, её называл Розанов, об обстоятельствах и причинах общего падения морали и нравственности. Стремление шокировать, эпатировать, сконцентрировав внимание на отвратительных сторонах российской жизни, порождается чаще всего эксгибиционизмом, но никогда не способствует поиску решений, возможностей и пути к переменам. «Зинзивер» успешно избежал этого недостатка.

И всё-таки это второй план. Используя вновь формалистические термины, можно сказать, что история Мити и Розочки служит фабулой романа, а его сюжетом стало российское общество в период, отделяющий перестройку от распада СССР.

Если «Зинзивер», несмотря на дату своего появления, не воспринимается как «современный» роман, то только потому, что он повествует о прошлом российского общества, описывая со вчерашней точки зрения жизнь культуры, которая, несмотря на относительную близость во времени, погрузилась в коллективном сознании под воду, как Атлантида. Конечно, он несёт в себе знаки прошлого, в замысле, персонажах, языке слышны отголоски традиций, тянущихся от Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

Это стремление погрузиться в прервавшуюся историю объясняется культурой самого автора, которому выпал шанс получить свои знания до падения страны на «демократическую» свалку. Конечно, ситуация в России сегодня, к счастью, изменилась, но «Зинзивер» повествует о другом времени, о времени, которое предшествовало, предвещало, готовило падение, последствия которого в то время мы не осознавали.

Через сознание молодого Мити автор заставляет нас пережить различные этапы исторических перемен, которые затронули не только положение России в мире, но и вызвали глубокие изменения в духовной жизни нации. Следует отметить, что роман заканчивается бунтом Мити против всеобщего воровства, когда после смерти Розочки он решает отправиться в Югославию сражаться на стороне сербской армии из соображений панславянской солидарности для спасения чести страны, преданной отщепенцами за деньги Запада. Это поступление добровольцем на военную службу является не романтическим вымыслом, а историческим фактом, ибо многие русские пошли добровольцами на помощь сербам, ставшим жертвами сговора западных демократов и арабского мира для достижения низких политических целей.

Главный редактор
Юрий Вильямович Козлов

Генеральный директор
Елена Петрова

Художественный редактор
Татьяна Погудина

Цветоделение и компьютерная верстка
Александр Муравенко

Заведующая распространением
Ирина Бродянская

Отпечатано
в АО «Красная Звезда»
Россия, 125284, Москва,
Хорошёвское шоссе, 38
тел. +7(499) 762-63-02,
факс +7(495) 941-40-66
e-mail: kz@redstar.ru,
www.redstarprint.ru

Подписано в печать:
27.04.2024

Тираж 1430 экз.
Уч.-изд. л. 8,0.
Заказ № 1433-2024

Адрес редакции:
Россия,
107078, Москва,
Новая Басманная, д. 19

Телефоны
редакции:
8(499) 261-84-61
8(499) 261-49-29
отдела распространения:
8(499) 261-95-87
E-mail:
roman-gazeta-1927@yandex.ru
Сайт:
www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Отклоненные рукописи сохраняются в течение года.

Несколько лет назад мой коллега Франсис Конт проводил в Сорбонне семинар, целью которого было ответить на вопрос: был ли СССР потерянным раем? Роман Виктора Слипенчука даёт исчерпывающий ответ, выражая не критический взгляд историка на потерянный мир, а чувствительный взгляд поэта, который концентрируется скорее на переживании происходящих событий, чем на самих событиях. Сегодня в исследовательских центрах, на семинарах, коллоквиумах историки множат исследования и накапливают статистику по всем аспектам и разным периодам коммунистической системы, препарируя её на отдельные куски.

Это, по сути, вскрытие трупа, которого только романтический и поэтический вымысел способен ещё вернуть к жизни. «Зинзивер» ещё раз подтверждает всепроникающую силу литературы, которой удаётся провести через чувства и тело атмосферу и воздух, которым мы дышим. Этот подход не исключает осмысления происходящего, при условии, что ему подвергаются не мёртвые предметы, а живые люди.

Среди других исторических событий мы встречаем упоминание ГКЧП, которое не только не проливает свет на природу событий, но запутывает их ещё больше, Митя обвиняется одновременно в том, что являлся сторонником путча и приверженцем демократических реформ, тогда как он не стал ни тем и ни другим, как и большинство его современников. Это происходит ещё и потому, что он получил богатый опыт комсомольской работы, которую автор описывает, используя воспоминания о карьере главного редактора местной газеты, взлёт которой приходился на период взлёта многих олигархов, начинавших карьеру точно так же.

Эти события происходили тогда, когда, как это прекрасно показывает Виктор Слипенчук, крепкие отношения между комсомолом и партийным аппаратом переменились.

Роман может стать первоисточником для историков, которые исследуют переломные периоды не только российской истории, но и истории мира, периоды, о которых написано уже очень много, но которые по-прежнему покрыты мраком.

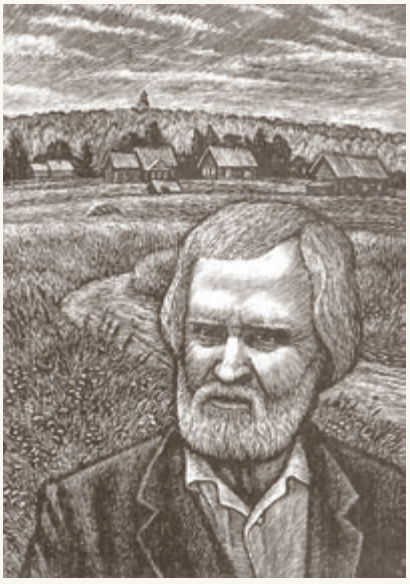
Роман «Зинзивер» дважды с успехом переиздавался в России. Он был переведён на украинский и китайский языки, в Китае включён в учебную программу вузов для изучения русского языка. По мотивам романа «Зинзивер» была поставлена пьеса «Роман без ремарок», которая не сходила с афиш Театра Наций в Москве в период с 2006 по 2009 год. В 2013 году роман был издан на вьетнамском языке. Виктор Слипенчук — автор ещё одного фантастического романа, «Звёздный Спас», который также дважды уже издан в России и переведён и опубликован на китайском языке в 2011 году. В настоящее время роман переведён на сербский язык и издан в Республике Сербия.

Жизнь, творчество и личность Виктора Слипенчука стали предметом документального телевизионного фильма «Писатель и море» Дмитрия Горина, дважды демонстрировавшегося по центральному телевидению России (ТВ-канал «Культура»). И фильма студии «Лавр» — «Один за всех, и все за одного» Анатолия Кима и Светланы Резвушкиной, выпущенного на DVD. Именем В. Т. Слипенчука названа Центральная библиотека в селе Черниговка Приморского края, в котором он родился и окончил среднюю школу. Впрочем, любые суждения об авторе и романе «Зинзивер», к счастью, не могут заменить самого романа. Теперь он перед вами, читатель. Приятного прочтения!

Жерар КОНЬО

Начало см. на 2 стр. обложки.

Вперёд на врага! (1999)



Василий Белов (2008)

Михаил Шолохов (2014)

ствуют о силе православия. Мы вместе на кресте, вместе с нашим Спасителем! Наши страдания неизбежно закончатся Светлым Воскресением...»

«Еще одно единит нас с Сербией. Они защищали Европу от мусульман с юга, а мы с востока от татарского нашествия. И европейцы нас за то, что мы их спасали от гибели, благодарят тем, что стараются всеми силами уничтожить. У памятника-обелиска меч в виде креста, внизу две пальмовые ветви и вокруг рукоятки четыре буквы СССС. Надпись гласит: «Само сербы спасают себя».

«Узнал про памятник-обелиск на Косовом поле. Он был создан в 1930 году. Во времена Тито все пришло в запустение, албанцы превратили его в склад. В 1989 году, на 600-летие Косовской битвы, он был снова открыт. Добавили четыре столба, а подходы выложили из камня. Над входом в памятник косовским героям слова из народной эпики:

Кто не придет в бой на Косово,
От рук его ничего не родится,
Ни в поле пшеница белая,
Ни в горах винограда лозы,
Не имеет от сердца рода,
Ни мужеского, ни женского,
И будет проклято все колено».

«Кому много дается, с того больше и спрашивается. Мы – Россия – православная держава. Мы нужны миру только как оплот православия. Другого предопределения у нас нет. Господь иного нам не дал, как быть душой мира. Сербия – сердце мира».

«Мы нужны миру не как СССР, не как Россия, но только как православная держава. Разрушается мистическая связь. Россия как православная держава всегда поддерживала Сербию и давала возможность ей жить в исключительно сложных условиях. Если наша страна как в политическом, так и в экономическом плане ослабла, то мгновенно усиливается натиск на православие во всем мире... Сербии действительно тяжело. Она зажата со всех сторон».

В. Хлебников

29

И твой побег вперед всегда
Повторят позже ног скакуны
И сутки страшного суда
Узнают радостей кукуны.
Упало Гэ Германии.
И русского Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.
В чугунной скорлупе орленок
Летит багровым краснаши
Хочу недавно как теленок
Лизал как спичечное пламя.
Мазай по морю клеветы!
Пружины длину своей версты!
Черти не мелом своей крови
Того что будет черемши
И рок слетевший кизяковин
Наклеим умный колорит.

19 V 20, В. Хлебников